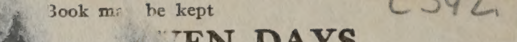
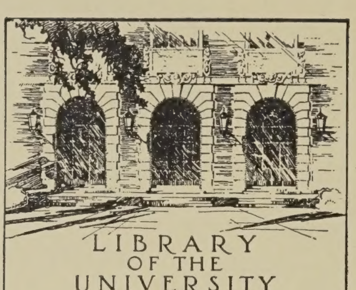
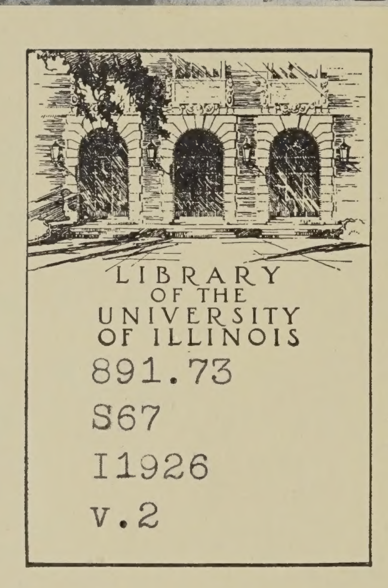
ДРЕЙ СОБОЛЬ



ЗИФ






LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS


ЗИФ

АНДРЕЙ СОБОЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ II

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

АНДРЕЙ СОБОЛЬ

ЛЮБОВЬ НА АРБАТЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Обложка худ. З а м и р а й л о.
Отпечатано в Государственной
учебно-практ. школе-типографии
им. тов. Алексеева.
Ленинград. Красная ул., 1.
Главлит № 49338.
Тираж 4.000 экз. — 7.
1926

ЛЮБОВЬ НА АРБАТЕ

Это второй рассказ о том, как живут и умирают на Арбате. Первый был о последнем путешествии последнего в роду баронов Фьюбель-Фьютценау, о его головокружительном путешествии с Нащекинского на Таганку — страшнее поездки какого-нибудь безрассудного норвежца или датчанина на край Северного полюса: первая ледяная глыба — Воздвиженка, следующая — Моховая, белые медведи на Театральной и т. д.

А этот о любви на Арбате, — о Трече, Викторе Юрьевиче, и о девушке из театральной студии, где третий год готовят пьесу Бернарда Шоу, и в пьесе этой главную роль дали Вале Сизовой, а пока что у Вали Сизовой опухли пальцы от холода, и, говорят, скоро останется она без зубов: цынга подкрадывается.

А у Треча ослепительно-белые зубы.

Он брит, корректен и всегда свеж, по виду самый что ни на есть джентльмен с коробки папирос высший сорт «А», даже когда за день во всех главках побывает, а с боку, под верхним наружным кармашком, у него эмалевый красный флажок с пятиконечной посередке.

Когда в первый раз остановил Валю на углу Афанасьевского, весь сверкал, и почудилось Вале, что паркетный он, только слишком густо коричневый.

Впрочем, все коричневое: автомобиль его, перчатки, портфель, и на двери коричневый плакатик:

«Уполномоченный Южпромсека т. В. Ю. Треч».

По холодному, по советскому году редко Треч снимает шляпу — это уж от Москвы, а так: безукоризненная тужурка, великолепные навощенные краги, но шапка всегда бессменно

на голове. И если б снял — даже Вале Сизовой кинулась бы в глаза странность одна: волосы у Треча, как у женщины, низко начесаны на уши.

Но как знать Вале Сизовой, что таким ухищрением прячет Треч уши свои — плоские, серые, волосатые.

Да еще кое о чем не знает Валя Сизова

Не знает того, что курит Треч всегда одну и ту же сигару, и никогда она у него не гаснет, никогда не уменьшается (а пепел не увеличивается и не отпадает), и что, закурив ее при белых в Крыму, в Коктебеле, когда увез с собой в Константинополь светлейшую княжну Кошуро-Машалову, он продолжает курить при красных, и от этой сигары сотни спецов, даже немало коммунистов, закуривали свои «иры», «явы» и махорочные крутеныши в разных комиссариатах, секциях, подсекциях.

Но ведь Валя Сизова не курит — это прежде всего, а потом — пусть даже торчит на голове Треча дамская шляпа с тонковолосым эспри или поповский гречушник,— все равно, все мимо глаз пройдет дымком беглым, когда рука протягивает записку от Коли:

«Доверься подателю записки, до встречи, целую».

И мигом скачет Арбат, тротуар из-под ног уходит, корявый, выщербленный, кирпичик торчком перестает служить зацепкой, и не поддержи Треч — упала бы Валя Сизова, почти так, как уже третий год учит постановщик Хабалов и научить не может.

Записку от Коли на Арбате прочесть — после трех лет горести, мути Арбат снова полюбить (еще до сих пор в ушах пушки Александровского училища); на Арбате от Виктора Юрьевича Треча узнать, что жив Коля, — к Виктору Юрьевичу немедленно душой прилепиться.

В крючковатых, извилистых, кривоколенных особнячковых арбатских переулках нелегко в дождь, слякоть плакатик «уполномоченного» разыскать, в сумерках чутьем прочесть, что прием от 4 до 6, и в ужасе подумать:

— Опоздала.

А в башмаках пруды патриаршие, а сердцу мочи нет к трем годам ожидания еще один день прибавить, но за одним чудом, повидимому, всегда другое следует: еще не постучала робко занесенная рука, а уж сам Треч открывает — двойной чудотворец: Колю оживил, к Коле приблизил.

Но краток Треч: за белопенными зубами слов мало, — не рот, а сейф опустошенный. Не рассказывает, как встретился с Колей, не хочет сказать, похудел ли Коля, попрежнему ли курит много и по-старому ли, волнуясь, все спичечные коробки мелко-мелко крошит.

Только говорит:

— Сами увидите... В Крыму, в Гурзуфе.

И на слезы глядя, на девичьи, хотя и октябрь на дворе, но весенние, в арбатских слякотных сумерках изнутри пронзенные солнцем внезапным, гурзуфским, — кончиком длинного и заостренного языка пробежал от верхней губы к нижней, словно облизнулся.

— Да, да, сами. И скоро. Только послушание, послушание и еще раз послушание.

И сумочка ветхая, еще мартовская, перво-революционного времени, когда Коля купил ее заодно с книжкой об Учредительном, задрожала в туго-опухших пальцах, готовая на все, навеки, для вечной преданности.

И угостил горячим неслыханным кофе.

Таким, что до позднего времени, на 127-й репетиции, на губах привкус очаровательный оставался, даже ночью ощутила его, когда, после Бернарда Шоу, в 127-й раз вернулась домой, в каменный гроб свой (3×2, три в длину, два в ширину), и, ноги в мамин театральный капор сунув, сушила мокрые чулки на «осраме».

Всю ночь горели губы — любовью, ночью кофе был не при чем: когда в комнате ниже нуля, любой пылающий кофе остынет.

Но, боже, когда три года подряд бедное студийное сердце замирает при виде каждой обтрепанной шинели, бывшей офицерской, и четыре буквы — «к», «о», «л», «я» — важнее всего алфавита, даже если при помощи его составить жирную афишу и имя свое запечатлеть в душах актео... тео...

— Послушание, послушание...

Все послушно Тречу: шоффер в назначенный час подает коричневый автомобиль к коричневой двери, Арбат всеми лужами своими расстилается покорно под шинами, широко и вольно разбрасывает автомобиль брызги черные и меткой коричневой метит зазевавшихся, портфель коричневый, не протестуя, пухнет бумагами срочными, важными, где в «24» каждый гриф и сорок восемь подписей в 24 минуты.

И не тает, не уменьшается сигара коричневая, и в каретке горит да горит красный пламенный кружок сквозь неосыпающийся налет пепла, — в каретке широкогрудого мотора, когда под шляпой шевелятся плоские волосатые уши и ловят дыхание Арбата, дыхание Москвы, дыхание России.

И еще: робкий, чуть слышный вздох ученицы Хабалова, постановщика московского, — девушки с зелено-пепельными щеками от воблы, морковного чая и продовольственной сентябрьской, аннулированной в октябре.

— Да, ради Коли все. Но я его увижу?

За коричневой дверью Треч улыбается:

— Даже скоро.

И карандашиком чертит по блокноту, словно по карте, показывает, как поедут, каким путем повезет к подпоручику Ромейке Валентину Сизову: вот так Арбат подведет к Брянскому вокзалу и — прощай, Арбат, мокрый, облупленный, оспенный в пятнах от вывесок, сменит тебя Гурзуф, зелено-лиственный...

Но даже к солончакам готова В. Сизова первая (есть еще Сизова — вторая, но та до Бернарда Шоу не добралась: возится пока с инсценировками басен Крылова), — ради Коли даже к чорту на кулички.

— Туда и не потребуется, — кривится Треч, Виктор Юрьевич, и ногами под столом стучит, точно вот куснула его одна — другая арбатская блоха. — К вечеру не надо поминать их. А ради Коли, дорогая, вам предстоит пока малость одна. Чтоб в Крым попасть — нужно нам сперва некоего Петросьяна раздобыть. Это будет не очень сложно. От остальных хлопот я вас избавлю. Еще успеете в дороге натерпеться. Впереди вагоны без стекол, грязь, мешочники. Довели Россию. Но не будем говорить о политике. Ведь и вы далеки от нее. Не правда ли? Все в искусстве и все для Коли. Не так ли? И я брезглив по этой части. Предпочитаю книгу, картину, бронзу. Ну-с, и вот...

Треч вынимает из портфеля канцелярский конверт, вместительный, демократический, из канцелярского другой — узкий, эстетичный, с рубашкой внутренней, бледно-синей.

— А теперь слушайте внимательно.

И перестает Треч улыбаться, подбородок крючком еще больше загибается во внутрь, — вот-вот сейчас крючком-хвостиком по зубам побежит, на зубах застрянет, огонек сигары суживается, точно прищурился, чтоб внимательнее взглянуть-ожечь.

А за окнами Арбат всхлипывает, попискивают кривоколенные, дрогнут, размазывают по особнячкам — по щекам старым, сморщенным — пятна дождевые, сквозь мелкое сито поминальные свечки — окна — тусклым светом горят не разгораясь.

— Слушайте внимательно.

И хоть не страшен конверт нарядный, а Вале Сизовой страшно.

Но ради Коли, ради любви пятилетней, ни разу не снизившейся... Но ради будущего счастья... когда-нибудь на том же Арбате, где когда-то, презрев случайного прохожего, поцеловал студент Ромейко гимназистку Сизову, и на углу Мертвого заколосилась живая благостная любовь.

Но ради встречи с беглым подпоручиком Ромейкой надо и страх отринуть, и тревогу смять — и только молча благословлять коричневого чудотворца.

Ах, если б видел Хабалов, как чудесно расцветают глаза ученицы его Сизовой 1-й, точно дурманит их ранне-весенняя черемуха!

— Адрес на конверте... Сивцев-Вражек, дом номер... Вас спросят, кто вы. Народ недоверчивый и напуганный. Это понятно. По-человечески, без политики понятно. Нужно совершенно искренно и откровенно сказать, что вы невеста Ромейки. Кстати, вы когда-нибудь вместе снимались? Да? Чудесно. Сниматься вдвоем с возлюбленным — это прекрасный обычай. Как будто сентиментальный в наши жестокие дни, но очаровательный. Тотчас же захватите с собой все карточки. Вам поверят.

Разгорается алый кружок под серым пеплом, вьются голубые кольца, сеть сплетая, бритые щеки невозмутимо спокойны, только колючий кончик языка нет-нет да пробежит по губам.

— Обо мне ни звука. Так надо: ни звука. Меня не существует в природе. Так надо: я не белый, не красный — я просто старый холостяк, который рад помочь людям вообще, потому в частности не надо меня называть ни на левой, ни

на правой стороне—я в стороне от схватки. Также ни слова о Крыме, Гурзуфе. Вы невеста Ромейки, и вам необходим адрес товарища Петросьяна. Вас могут спросить: а кто вас направил в Сивцев-Вражек? Вы должны ответить: тот же Петросьян. Поняли?

Разве надо переспрашивать, когда по-гимназически, совсем как на уроке алгебры в Третьей Мариинской, губы взволнованно повторяют слово за словом, даже Шоу так не заучивала.

— Получив адрес, тотчас же идите туда, и когда вас проведут к товарищу Петросьяну, вы у него должны...

И веско, вразумительно доказывает Виктор Юрьевич наставление свое, к Коле путь прокладывающее, через Арбат к Гурзуфу ведущее.

Будь благословен коричневый особнячок, будь благославен бритый, милый англичанин.

И по Арбату, по Сивцеву-Вражку спешат-торопятся каблучки стоптанные, по лестнице дом номер. . . вбегают в шестую квартиру, где на стене портреты Ленина, Свердлова, где в углу груды картофеля, а с дивана, из-под шинели солдатской, сверлят чьи-то глаза цепкие, насторожившиеся.

Спешит, торопится сумочка ветхая, бисерная карточки показать—студента вихрастого, затем прапорщика парадного рядом с шляпкой соломенной, девичьей, весенней, и еще другую—любительскую: подпоручик с забинтованной рукой, а за спиной кресла белая блузка.

И успокаиваются под шинелью пытливые глаза.

И вновь по арбатским измочаленным тротуарам выстукивают каблуки дробь мелкую—зорю играют, рассвет приветствуют: кончается ночь трехлетняя—в Денежном у Петросьяна опояшет темное небо (темное небо над темным Арбатом в дождливый вечер) первая светло-возникающая полоска.

А за каблучками проворными сапоги тяжелые, но не менее быстрые, а за сумочкой куртка меховая, и поодаль еще тень одна, в обмотках, и еще третья, на соседнем тротуаре, будто сама по себе, но по линии одной с сапогами и обмотками.

И куда каблучки, туда и обмотки, куртка и спутник третий, а за дверью с плакатом «уполномоченный» не гаснет сигара в белопенных зубах Виктора Юрьевича, и кружок огненный видит

сквозь пепел и переулки арбатские и Сизову 1-ю, ученицу Хабалова, и шесть глаз мужских, по линии одной, к цели одной— в вечер дождливый, в вечер арбатский.

Трудно без спичек по лестницам крутым, скользким заветную дверь найти—воистину ход в царствие небесное с земли грешной, с Арбата холодного, голодного, мокрого.

Но чует любовь верный путь—даже когда глухо молчат близнецы-двери и все звонки попорчены.

— Мне... я к Петросьяну...

Сорвался голос (совсем как на репетиции неудачной, 126-й).

И ведут, ведут Валю Сизову к Петросьяну коридором, мимо сундуков, корзин, коридором влево, вправо, и на стук идет из глубины кто-то высокий, из темени к свету́.

И на свету видение непостижимое, и на свету, по коридору, по сундукам, по корзинам, по Денежному, по Арбату крик исступленный:

— Коля-я-я!..

А за криком не слышно, как стучат в дверь неторопливо, но верно. Настойчиво: куда каблучки—туда и сапоги, и куртка меховая, да и третья тень, что как будто сама по себе.

Мокнет Арбат.

Несется по лужам коричневый автомобиль, шипит сирена, шипом кроет все Власьевские, Никольские, а в каретке, за стеклами выпуклыми (все выпукло, все видать, весь Арбат виден), говорит Виктор Юрьевич Треч соседу своему поникшему, в комок сжавшемуся:

— Дорогой полковник, не будьте бабой. Жаль, конечно, Ромейку, мальчик недурственный, но, милый мой, зато ход какой ловкий. В самую цитадель проберусь...

И летят из-под шин черные брызги и коричневой меткой метят зазевавшихся.

Москва—Красково
Сентябрь 1922

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БАРОНА ФЬЮБЕЛЬ-ФЬЮТЦЕНАУ

Это рассказ о том, как погиб барон Оскар Бернгардович Фьюбель-Фьютценау, последний в древнем роду, единственная уцелевшая особь мужского пола российских Фьюбель-Фьютценау, потомок мальтийского рыцаря, как вычеркнут был из списка московских жителей барон Фью-Фью, проживавший на Арбате, по Нащекинскому переулку.

И еще рассказ о том, что в жизни нашей сосед по коридору может стать и ангелом-хранителем и убийцей — и разве знал барон Оскар Бернгардович, что с Пембеком входит в дом его неминучая судьба?

Пембека вселили к барону в январский вьюжный день, когда на Арбатской площади сугробы в чехарду играли, а по крыше бывшей «Праги» ветер метался бешенее пойманного мешочника. Но сам-то Пембек был тих и скромен, из трех баронских комнат удовлетворился той темной, где раньше лежали дорожные принадлежности, баулы всякие, чемоданы (рьяным путешественником был когда-то барон,—но об этом ниже), председателя домкома, водителя своего, облобызал, а барону, подав руку, сказал грустно:

— Эх, жизнь! Приходится тревожить чужих благородных людей. Ради всего, снизойдите.

И ножкой шаркнул, маленькой ножкой; ножка в желтой ботинке на пуговичках, а на голове пышная меховая шапка с длинными ушами-хвостами, хоть подбородок подвязывай, да еще раза два вокруг шеи оберни, а на плечах пальтецо демисезонное, цвета облупленного кирпича из развалившегося московского дома.

И вот попозже, когда у себя в новой комнате повозился, покашлял, насморкался, обои общупал и часов в девять постучался к барону—«разрешите войти»—и снял свой полярный головной убор, оказалось, что весь-то он в кулачок и весь безволосый; даже вместо бровей пустое место.

И нежным, даже при шести градусах тепла баронской комнаты, нежнее девичьего вздоха, голоском отрекомендовался новый уплотнитель:

— Пембек, Капитон Иоаннович, православный интеллигент, невзирая на иностранную фамилию почти из Диккенса, по слову моего близкого друга, артиста первой студии Художественного театра.

И, присев рядом, молвил Пембек барону:

— Вы не сомневайтесь, дорогой, высокопочтенный барон, что в моем лице вы найдете подлинного соседа в нашей сегодняшней собачьей жизни. Эх, жизнь. Я буду уважать ваши почтенные годы, ваше благородное звание, не поддающееся аннулированию. Я за аристократию с детских лет и, между прочим, за культуру.

Откланявшись, Пембек исчез, длинные заячьи хвосты, пятнистые, юркие, мелькнули, барона Фьюбель-Фьютценау по лицу мазнули, мимо недоумевающих старческих глаз пронеслись и тоже исчезли.

Сгинули хвосты, Пембек сгинул—до утра, чтобы потом, на следующий день, почти с рассвета, когда еще окна безжизненно-сини, а за окнами жизнь мертва, глубоко, зловеще, навсегда внедриться в бедное баронское русско-немецкое существование, по Нащекинскому переулку, в январский снежный посвист.

Поутру у Пембека в кармане лежала баронская продовольственная карточка,—мадам Тотейль, из подвального этажа, посредница по ликвидации баронских остатков и поставщица предметов первой необходимости, была отринута в 24 минуты и безоговорочно отправлена назад в подземелье.

К вечеру рядом с карточкой очутились ключи и даже ключик от заветного секретэра.

В ящиках и сундуках Пембек обрел катастрофическую пустоту, в секретэре грудились перевязанные лентами письма, бумаги; долго дрыгали заячьи хвосты, сокрушались, долго не могли успокоиться.

Дня через три Пембек переселился к барону, завладел оттоманкой, покрыв ее последним уцелевшим ковром — тем самым, что висел над кроватью барона и сырость прятал, гнойные пятна истерзанных обоев.

Морщась, барон пополз в коридор, в темени охал, из темени вытащил старые худосочные ширмы и отгородил оттоманку.

А к концу недели сказал Пембек, что у барона слишком длинная и неудобопроизносимая фамилия, а имя и отчество отнюдь не приемлемо, и что надо фамилию по-советски сократить.

В ширмах были две дырочки — наблюдательный пункт Пембека, — и в одну из них крикнул однажды Пембек с оттоманки:

— Барон Фью-Фью, — ночью, когда барон сидел на краю постели и, стиснув изо всей силы колена, старался понять, почему он не один в своей комнате. — Фью-Фью, ложитесь, вы мне спать не даете.

А еще дня через три барон подошел к другой дырочке и сказал со слезами:

— Боже мой, сколько вы злой и неделикатни человьек, — и седым виском припал к выцветшему шелковому павлину.

И это было ночью, как ночью же в обе дырочки говорил Пембек:

— Ничего подобного. Я уважаю вашу старость и ваш герб. Я отнюдь не демократ и в благородстве воспитан с детства. Я вас полюбил и я о вас забочусь. Топлю вам печку? — топлю. Кто вас вчера угостил картофельными бесподобными оладьями? — я. Кто вам обещал билет на лекцию Луначарского? — я. Все я.

— Я не желяю Лунячарски, — сухо ответил барон и последним усилием вскинул голову. — Мы не знаком.

И опять плечи обмякли, да и спина тоже — не долго храбрилась: снова пополам перегнулась.

— Вы печку топлили моими креслами. Вы как жадный лев рвали мой мебель. Я очень проклинаю то час, когда я кушкал ваш олядьи, хотя масло быль мой. Боже мой, боже мой... Я не могу жить в одна комната с посторонне персоной. У меня очень разорванный калесон... Мне стыдно... Мне стыдно... Я очень не могу. Можете взять... alles, alles, мне ничего не надо, только оставляйте меня в мой комнат.

И в дырочки пел Пембек, вкрадчиво, вкрадчивей первой скрипки в Большом государственном:

— У вас подагра, вы не умеете говорить по-русски, это очень нехорошо. Вам шестьдесят лет, а я благородно хочу помочь вам, озарить вашу старость светильником добра и любви. Я вас женю.

— Wass? — и, спотыкаясь, ухватился барон Фьюбель-Фьютценау за ширмы; качнулись шелковые павлины, поплыли, поплыли, — поплыл и барон.

В дырочку хихикал Пембек:

— Кислый квас. Женю!

У Пембека голая голова, конусом — для заячьей шапки находка; мигом натянул малахай — и шмыг на Арбат, через снежные заставы, по делам своим, деловито, спешно и озабоченно, как вот торопятся честно на службу машинистки, заведующие тарифно-расценочным.

У Пембека дела повсюду, даже на Таганке, даже в извилинах Коровьего Вала, а у барона волос к волосу аккуратно прилажен, и малахая нет, только цилиндр сохранился — из последней поездки в Спа.

И спешить барон не в силах, и нет у него никого, даже в соседнем Афанасьевском, и самого крошечного сугроба не преодолеть барону без чужой помощи — где вы, швейцарские горы, верхушка Urirotstock'а, где некогда (совсем еще как будто недавно) барон сверху кричал земле сквозь облака:

— О-го-оо! — и где вы, фиорды голубые, — ах, поездил барон на своем веку немало, — видел Тунис и Берген, Капри и Золотой Рог, — поездит теперь на баронских русско-немецких плечах востренький человечек, безбровный, домкомской рукой введенный в круг баронской жизни, подобно занозе, — и кнутиками, кнутиками защелкают заячьи хвосты.

Ах, немало женщин целовал барон на путях своих, — цветных, белых и смуглых, — и кого теперь предназначает Пембек для законного супружеского поцелуя...

— Mein Gott! Mein Gott!.. — карабкаясь, изнывая, ловят руки дверную цепочку, чтобы дверью плотнее, сильнее, надежнее, вернее, скорее заслониться от Пембека, от Пембека, а с ним от всего того, что началось три года назад, что ворвалось сквозь

снег, вьюгу и ветер, в мешанине, в вихре, в пламени, в криках, в песнях, в звонах, в гуле, в топоте и разнесло на части плацкарты, гидов, шабли, отели и кальсоны...

А Пембек согнутым пальчиком постучал вечерком — и барон немедленно снял цепочку — безнадежно, покорно и мертво.

В этот вечер в печку отправилась добрая половина заветного секретэра, едва согласился Пембек отдать письма.

Хорошо грел секретэр. Пембек даже чуть-чуть заалел, и по пальцам считал Пембек, что дают за невестой:

— Пять пудов ржаной муки. Хорошая, я видел. Пуд газолина для примуса... Мне драповое пальто... Башлык белый вам... Бидон постного масла... Две дюжины носовых платков без меток... Сахару...

И еще нежнее сказал Пембек:

— А в день появления на свет божий младенца, месяца так через два, мы получим от тестя три ящика шоколада. Он нынче по шоколадной части.

И, от тепла секретэрного разомлев, совсем шопотком просюсюкал Пембек:

— И все это в удвоенном количестве за церковный брак. Два башлыка. То-то! Я за церковный, невзирая на советы. Старик плачет: на Таганке баронов уважают и высоко возносят. Завтра с первым визитом и за задатком. Какими оладьями я вас попотчую! Вечером в студию — мой друг и приятель Диккенса изображает.

Ночью Пембек снова цыкал в дырочку:

— Фью-Фью, пора спать, тушите свет.

— Тусю, — ответил барон и, потянувшись к выключателю, стал оседать.

Утром Пембек повел барона на Таганку — невесте представиться, тестю документы показать, грамоты немецкие с печатями величиною в блин, чтоб воочию убедились на Таганке, как не оскудела еще земля русская знатными людьми.

И велел Пембек барону семейные фотографии захватить; предварительно просмотрел их и выбрал те, где мундиры и ордена.

И саночки прихватил Пембек — по снежным московским рельсам задаток переправить.

Вот так в февральское низко-реомюрное утро появился на Арбате цилиндр черный, лоснящийся, а малахай, хвостами

размахивая, точно лопастями воду рассекая, потащил его на буксире: впереди малахай, за ним цилиндр, а на прицепе саночки с тарой.

Уже минут через пятнадцать, к Моховой подходя, барон дышать не мог, а малахай все тянул да тянул, к Театральной поволок, на Варварку свернул.

И стал барон синеть: сперва уши посинели, потом синева по щекам поползла. Пембек вправо потянул барона: к автомобилю крытому шла из подъезда личность с портфелем, в пальто европейском, и барон чуть было на автомобиль не напоролся.

А синева уж до шеи добралась. Обдирая на себе ворот, барон судорожно повел головой, и глаза барона Фьюбель-Фьютценау увидали перед собой, после долгих лет, шляпу заграничную, кашне берлинское, краешек крахмального воротника.

С криком коротким, тугим, промерзлым, раздирающим колким острием глотку, гортань, небо, рванулся барон от Пембека, поближе к кашне, к шляпе — к Европе, к Спа, к паркету в отеле:

— Um Gott... Ich... sterbe...

Мягок снег на Варварке, неподалеку от одного из подъездов Делового Двора — мягко, ласково принял последнего в роду баронов Фьюбель-Фьютценау.

Сугроб справа, сугроб слева, — и посередине замер черный цилиндр, а малахай — малахай сгинул, только саночки остались, да и тара...

Москва — Красково
Август 1922

СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА

КОГДА-ТО особнячок был на виду, но в 1911-ом пятиэтажный — доходный! — рыжий дом пролез вперед, кирпичный мужлан вогнал деревянного старичка в глубь двора, нагло, не стесняясь. Никакого почтения к прошлому, а помнил особнячок севастопольскую кампанию, у себя в зальце с белыми колонками принимал Масальских, Щербатовых, Волконских, и еще до сих пор у крайнего овального окна стоит кресло, в котором приезжий заграничный гость, великан с серебристой бородой, рассказывал о прекрасном голосе приятельницы своей Виардо.

А в 1919-ом оказалось, что на счастье это — вот уж не знаешь, где найдешь и где потеряешь, — не уплотнили, ореховую шифоньерку с замысловатыми тайными ящичками не приспособили для канцелярии Оккмы (в Оккме старший сын бывшего прокурора, Василий) или для хранения дел Упшосса — в Упшоссе дочь Валентина регистраторшей.

Хорошо, когда вглубь двора, на задворки — и турецкая оттоманка осталась.

И дни и ночи проводит на ней старый прокурор Анатолий Федорович Башилов — Златоуст московский, еще в 1917-ом по виду хоть под венец или на два—три тура вальса в Дворянском, а в 1919-ом пополам перегнувшийся, с губой отвислой и дрожью в коленных чашечках.

Оттоманка — и кабинет, и столовая, и спальня; все вместе, все на оттоманке: тарелка с селедочным хвостом, картуз с махоркой, желтая обложка «Исторического Вестника» и пальто бурое, с заплатами на локтях. А портьеры, фарфор, серебро еще в начале девятнадцатого уплывают на Сухаревку, Боровиковского уносят, шахматы китайские.

В марте еще острит Василий, теперешний начканц Оккмы:

— Я моль: съел фрак, теперь ем шлафрок.

И кричит с оттоманки старый прокурор:

— Освободи меня от этих мерзостных советских анекдотов,— а уж в декабре 1919-го и кричать перестал.

В ноябре 19-го около оттоманки два градуса ниже нуля. И тихонечко с крылечка сходит второй сын, Коля. Ему пятнадцать лет, в карманах «Ира», «Ява» и шведские спички. Анна Владимировна до ворот провожает, в калитке крестит Колю, за воротами Собачья площадка в сугробах, узкогрудый Коля посреди, как заблудившаяся собачонка, — и стремглав бежит Анна Владимировна обратно: — Господи! Господи! — но должен же Реомюр подняться.

Упорен Реомюр: поднявшись в среду, в пятницу опять падает.

«Иру» сменяют пирожки, пирожки — ирис кромский, а Собачьей площадке ни то ни другое не по нутру: не берет, не ест, только снегом скрипит. По ночам на углу Трубниковского, на углу Дурновского, Спасо-Песковского воют псы — спать не дают старому прокурору. Кто знает, чьи они: бездомные, или хозяйские, но без кормежки? — и ночью оттоманка — пытка, пытка под всем барахлом, что собирает в дому Анна Владимировна и укрывает.

Днем — другая пытка: на буржуйку Анна Владимировна ставит два утюга и на утюги горячие льет воду, чтоб Реомюр подпрыгнул: жестяно скрежещет печурка, по утюгам прыгают шарики, кружатся шибко, и бьет пар. Уже минут через десять пахнет баней.

— Убери, убери! — молит прокурор. — Лучше мерзнуть собакой, чем эти сандуновские.

Анна Владимировна бросается к утюгам, тащит, обжигая пальцы, и — в белой зальце, прижавшись к колонке, в белой тундре тихо стонет, сама белая.

Все белым-бело: зальца, лицо, окна, Собачья площадка, Москва, Скарятинские, Кречетниковские, Борисоглебские...

Что губит Колю — «Ява» ли, ирис ли или смоленские сугробы — кто знает и кто сможет поведать?—но Колька (уже не Коля) — погублен навеки: только ночевать приходит.

— Пороть! Пороть! — мечется прокурор по оттоманке.

А оттоманка хихикает измочаленными пружинами: знает старушенция, что насчет порки надо надолго воздержаться.

Надолго ли? — надолго, — уверяет Колька, комсомолец городского района, и, пристегнув к выцветшей гимназической фуражке красную звезду, одним взлетом берет Собачью площадку и исчезает навсегда в морозном синеватом тумане.

Тра-та-та... Тра-та-та... — где-то бьют барабаны, хрипит старый прокурор, на отвислой губе, как водяные шарики по утюгам, слюна, проклятья, а красные знамена ширятся по Москве и, заставы раздвинув, бутырские, семеновские, рогожские, ползут на Урал, к Перекопу, на хребет Хин-Ганский, к кубанским степям.

А в Оккме сосед по столу Василия — Максимилиан Казимирович Войдак—холеными пальцами перебирает бумаги, на серой папке отполированные ногти, розовые — кусочки ветчины елисеевской—привет тысяча девятьсот пятнадцатого, а такой же, как Василий, партийный — П. П. П., партия прогрессивного паралича, бывший помощник присяжного поверенного.

И только: ни спец, ни коллегиальный член, а маникюр, крахмальный воротничок, правда, лишь краешком над тугим заборником безукоризненного френча, в вощеной бумаге, к двенадцатому часу, ломтики семги на белом хлебе, яйца, плиточка шоколадная — аккуратный пакетик, опоясанный шнурком.

Войдак, Максимилиан Казимирович, П. П. П., желтые высокие сапожки на двадцати двух пуговицах, папиросы «Асти», белоснежный носовой платок с хрустом, с духами — чуть ли не Коти — фантасмагория, сказка Шехеразады, тысяча и одна ночь, двадцать две пуговки — и однажды:

— Башилов? Сынок Анатолия Федоровича?

«Сынок». — И губы в улыбку, мягкая ладонь, рукопожатие, точно в фойе зоновской оперетки, а за сим ужин в Литературном на Большой Дмитровке, за столиком под портретом Шаляпина, по соседству с профессором Баженовым, с балериной из Большого — улыбочка, улыбочка и взгляд изучающий.

— Как же... Как же... Знавал, имел удовольствие... Красивый был старик.

И взгляд успокоился: нащупал, ковырнул, определил и нашел. «Знавал», «имел» — и сказал в свое время:

— Предрассудки. Надо кормиться, дорогой мой. Надо самоопределиться, надо самому себе ответить: как мы будем кушать, что мы будем пить, чем мы будем печечку топить. Вобла?

— Вобла.

— Сакс ликвидирован?

— Давным-давно.

— И утюги на печурке?

— Два ниже нуля.

— Уплотнение до печенки?

— Нет: не тронули.

— Коллега, коллега...—сокрушается вощеный, как бумага из-под семги на завтрак, пробор.

Сокрушаются бритые, с синим глянцем щеки.

— Как это глупо и... безобразно. Сущий клад, а вы с санками за картошкой... Золотоносная жила...

И назавтра в белой зальце гость—первый гость за полтора года—Максимилиан Казимирович Войдак в тургеневском кресле. Войдак в восторге от залы, от колонок и больше всего, паче всего от брандмауэра рыжего, который надежно заслонил особнячок и, припрятав его, сам вылез на Собачью площадку.

Так и надо: к комиссарам – пятью этажами с разными ходами, комами, маскировка—la guerre comme à la guerre, прикрытие, а в глубине клад, золотоносный рудник.

Предварительно... да все очень несложно: побольше тепла—не «буржуйку», упаси боже, а по-московски, по-московски старую добротную голландку,—два круглых стола меж колонок, не мешало бы с скатертями такими, где ворсинки — легче и приятнее карты брать, — третий, маленький, сбоку, с альбомами, не мешало бы с семейными карточками, раз были в семье генералы, сенаторы и посольские, четвертый с закусками, с самоваром—и десять процентов с каждого банка.

— Ни за что!—кричит Анна Владимировна,—и пятится, пятится, приседая, точно по темени бьют ее, и машет руками—тонет, тонет в холодной пучине, а берег-то близко, но будь он трижды проклят!

И идет ко дну, камнем, урожденная Шамшурина, смолянка с шифром, в платке кухаркином, крест-накрест, поверх рваной кружевной парижской мантилии.

— Ни за что,—посерев, говорит Валентина, регистраторша из Упшосса, и хочет гордо вскинуть голову, а голова никнет: закружилась белая зала, белые окна, а поверху пляшет стол с закусками: колбаса, калач, масло—бешено, в глаза норовя поближе...

А Войдак мигом рядом: подхватил, поддержал, повел к креслу — пахнет духами, к лицу нагибаются подстриженные усы, батистовый платок у лба — бред, сказка Шехеразады, тысяча и одна ночь... двадцать две пуговки на стройной ноге Войдака, Максимилиана Казимировича.

— Ни за...

Окончание завтра.

А назавтра уже въезжает во двор воз с дровами, и Войдак, Максимилиан Казимирович, с тремя свертками, целует руку, почтительно пригнув голову, и шепчет очень корректным шопотком:

— Ах, Валентина Анатолиевна, поверьте мне, что...

В Упшоссе у Валентины пальцы не гнутся, когда надо вписывать номера в исходящий.

Упшосс — скользкая лестница, в столике аннулированные карточки за декабрь, курьерша в овчине — говорят, в этих овчинах зараза, сибирская язва, — от соседнего Ундервуда в висках ноющий зуд, точно в дупло, откуда пломба выпала, иглу сунули и иглой ковыряют, часовые стрелки ползут мухами осенними—саботируют... саботаж... вернисcаж... вояж...

— Боже, боже, о чем это я?

Куда ехать?.. Куда бежать?.. Упшосс — это что? Русское слово, турецкое?

— Управление шоссейных дорог...

Почему шоссейных, а не железных? Разве существуют еще шоссе? Кому они нужны?

— Номер 1211... Народному Комиссариату путей сообщения...

В белой зале шумит самовар, в белой зале пылает печка, в белой зале тонко пахнет духами...

— Ах, Валентина Анатолиевна...

Упшосс — скользкая лестница, в овчине сибирская зараза...

— Не хочу. Не хочу.

А ровно в 4 входит Войдак, Максимилиан Казимирович, и на саночках мчит домой быстро, быстро—к белой зале, к жарким изразцам, к Собачьей площадке, а сегодня Собачья площадка совсем другая: прежняя. И как хорошо скрипят сани, Кречетниковский огибая.

Два дня подряд не вылезают дрова из печей—в себя приходит особнячок, расправляет онемевшие кости, обоями трещит, стужу гонит прочь, все деления Реомюра, нижние прахом идут, верхние лезут вперед. А прокурор под тряпьем на оттоманке еще не знает, что можно уже все барахло скинуть и лежать, не заботясь об одеялах. Но тепло ширится и дает о себе знать, и прокурор в недоумении.

— Анна! — зовет он и, кряхтя, приподнимается.

— Иди ты, иди ты,—толкает Анна Владимировна Валентину. — Боже, что мы ему скажем? Как мы ему объясним?

Валентина идет к отцу: в Оккме выдали дрова, в Упшоссе еще обещают.

Прокурор морщится:

— Знаем мы эти обещания. А вы уже разгорелись, в восторге, все сразу. Бабы. Экономить надо, экономить.

Валентина, не поднимая глаз, покорно отвечает:

— Будем экономить.

К ужину прокурор получает жареный картофель, французскую булку и сладкий чай.

Французская булка заставляет прокурора подпрыгнуть, но хотя и съедает ее жадно, прокурорская старая закваска бродит—и настораживается прокурор.

— Анна,—зовет он опять.

В кухне Василий злится:

— Нельзя так, мама. Надо исподволь. Ты бы еще сразу с икрой, с анчоусами.

— Васенька . . . Васенька . . .—бормочет Анна Владимировна и мелко плачет. — Ведь для него все, с него и начать надо. Васенька, иди ты, иди ты.

Василий идет к отцу и уже на пороге смеется, а смех чужой и упорно стынет на неверных губах.

— Это, отец . . .

Прокурор сдвигает седые взлохмаченные брови—две брови, две настороженные ночные птицы, внезапным рассветом вспугнутые:

— Упшосс? Оккма? Василий, говори правду!

Для первого вечера Войдак, ради спокойствия Анны Владимировны, соглашается привести не больше пяти—шести человек, а закусок заготовлено на двенадцать, но Василий обещает назавтра уговорить мать, и Войдак благодарит пожатием: мягкая ладонь, духи, антракт в оперетке... «Король веселится», сейчас скажет:

«Махнем к Яру».

Расставлены круглые столы, на маленьком столике, пока еще без альбомов, колоды наготове, подносы с холодной телятиной, с осетриной, со стаканчиками для красного удельного ждут своей очереди. Валентина у себя в комнате ничком на постели—и осторожно стучится Войдак.

— Сейчас. Сейчас,—отвечает Валентина—и опять в подушку: дрожь унять, пальцы сплести.

В одиннадцатом приходит первый гость: мохнатая бурка и гортанный голос. Двери открывает Василий, раньше, чем открыть, спрашивает:

— Кто там?

— Ыз Ныжнего,—слышится в ответ—условный пароль, Войдак дал, у Войдака в Нижнем-Новгороде брат, потому пароль такой.

Второй гость, вертлявый, сухонький старичок, отвечает бойко, быстро и весело:

— И-ги, и-ги,—из Нижнего.

Сугробами, через Собачью площадку, мимо рыжего дома, двором идут гости, а на Собачьей площадке тишь, белый сон, белая смерть, и прорезает их изредка собачий лай, мерзлый, твердый. Старый прокурор приподнимается на локте: опять не дают спать проклятые собаки, воют, точно в деревне, когда за околицей из оврага лезет волк, и ведь не дохнут, мерзавки, хоть и не кормят их,—живучи московские псы, ох, живучи!

Василий осторожно запирает двери, но все же стучат они— и по-морозному отчетлив стук.

— Анна!—кричит прокурор,—Анна, кто это пришел?

Василий бежит к отцу успокоить, солгать, но не обмануть заматерелого прокурора—наметан слух, любую фальшивую нотку поймает: будто верит—ложится опять, а ухо волосатое на-чеку, на дозоре брови—седые ночные птицы.

И в ночи явственен вторичный стук дверей, затем третий четвертый.

Лежит прокурор, все ловит: шорохи, звуки; тишь ночную прощупывает, темноту сверлит остановившимся взглядом.

Уже не стучат двери, уже по-обычному, как третьего дня, как пять дней тому назад, не шелохнется дремотная тишь, а прокурор, голову с оттоманки свесив, прислушивается — свисает голова, губа отвислая книзу — и улавливает старый прокурор новые, подозрительные и страшные звуки: голоса чужие, голоса неведомые. А в белой зале, меж белых колонок, Войдак карты мечет и корректно вопрошает:

— Сколько?

— Двэсты.

— Жир! — заливается сухонький.

Прокурор сползает с оттоманки, — ноги не слушаются, одеревенели за зиму, редко они по полу ступали, дальше ночного столика ни шагу, а тут путь длинный: коридором, мимо детских комнат (белобрысый Коленька, сорванец Вася и любимица Валя — каштановая косичка на белой пелеринке), к зале, к колонкам.

Спотыкается прокурор, от стенки к стенке, невидящими глазами в тупики и — чтоб потом, на пороге белой залы, увидать меж колонок, милых, любимых и с детства памятных, карты, жадные глаза, жадные рты — чужие, все чужие, — и дочь Валю — каштановую косичку! — рядом с френчем, а френч карты ей показывает, улыбается и ответную улыбку ловит.

И — назад, назад, так осторожно, так тихо, что половицы не пищат, и — назад, назад, так мертво, так без кровинки, что и биения сердца не услышишь — к черному ходу, черным ходом во двор и двором, двором, к Собачьей площадке, наугад, во тьму.

И за воротами, старой головой в снег, на четвереньках, старым московским псом воет прокурор, воет протяжным мерзлым воем.

И отзываются собаки с Трубниковского, с Кречетниковского, с Борисоглебского.

Красково под Москвой
Август 1922

ПОГРЕБ

По железным дорогам, по тюрьмам, по казармам, по вокзалам, в лесах за мшистыми пнями, в хвостах у раздаточных пунктов, на базарах в ожидании облавы, по всей земле российской, по всем бывшим и не бывшим городам, при всех зеленых, белых и красных, в жару и слякоть, в белопенную вьюгу и оттепель человеческое тело научилось сжиматься и сокращаться: в теплушке лежали как поленья — штангами.

Лежали чуть ли не в три ряда, — валетами — своя голова меж чужих ног, своими ногами оплел чью-то голову.

Сперва барахтались, швырялись мешками, дубасили друг друга по спинам, к стенкам придавливали, а потом притихли: вечер надвинулся, темень обволокла, единственная — барская — свеча спертого воздуха не выдержала, задохнулась, спички гасли. Плакала девушка-беженка, — тихонечко, боясь слово молвить: костлявая рука под юбкой шарила, мерзкая рука, невидимая — сотни, сотни рук снизу, с боков.

И в первую же ночь за Одессой придушили в темноте ребеночка солдатским сундучком, старо-режимным, обитым зелеными жестяными полосками.

А поутру на остановке понатужились (человеческое тело умеет сокращаться), еще больше сжались, еще тесней сдвинулись, и выудили из недр мертвого и мать его, простоволосую черниговку, как будто живую — из угла к двери передавали, по рукам: сначала трупик, за ним мать, а за матерью корзинку.

И, выкинув, понесся поезд дальше.

В поезде теплушка № 233521, а в теплушке с мешочниками, с солдатами три беглеца — три человеческие развороченные души, пожелавшие отдыха и спокойствия по ту сторону России,

там, где поезда отходят по звонкам и где за вошь, говорят, ученые исследователи деньги платят.

Три человека, один другого не знавшие: штабс-капитан Синелюк никогда не слыхал о присяжном поверенном Вересове, а Давид Пузик не подозревал, что лежащие рядом — белокурый поджарый в пиджаке с бахромками и широкоплечий очкастый брюнет в гимнастерке — вместе с ним побредут, крадучись лесом, к Днестру.

Штабс-капитан пешком прорезал всю Россию вдоль и поперек: от Уфы к Царицыну и от стен царицынских, заалевших над трехцветным флагом, назад, назад, в сумбурной толчее. мимо брошенных обозов, в океане шинелей, большаком, полями, рощами, степями — назад, назад, вплоть до немецких колоний Новороссии.

И смертельно устал штабс-капитан Синелюк от чужих паспортов, от бесконечных фамилий, с Иванова до Чавчавадзе, и регистраций.

Присяжный поверенный полтора года вьюном вертелся при каждом стуке в дверь, прятал под половицей кольца, золотые часы, письма Милюкова за время своего председательствования в губернском кадетском комитете, и в Париж потянуло: не то к Милюкову за правдой, не то прочь от обысков.

А Давид Пузик с Милюковым не переписывался, Царицына не брал и не отдавал, но нес на себе три креста, тройную тяжесть: был он евреем, торчала у него на носу катастрофическая бородавка с хвостом до губы, и была фамилия, — за первое били, над вторым издевались, от третьего житья не стало.

От весны до осени метался Пузик по городкам; солнце вставало — вставал Пузик и покидал Голту: подходили зеленые, в лесу ландыши цвели, и в Голте заколачивали ставни, матери хватали детей, старики брели наугад. Солнце исходило в пламени на зените — Пузик огородами, пашнями пробирался к станции: атаманша Маруся подкрадывалась к подушкам, к синагогальным подсвечникам. Солнце закатывалось — Пузик удирал из Вознесенска: на тачанках, с грохотом и гиком вваливались ангеловцы.

Сколько ночей может не спать человек? — спят поля, небо спит в вышине, звезды — и те дремлют, а Пузик не спит: надо

каждую минуту оглядываться, надо каждый миг настороженно прислушиваться, ловить то стук копыт, то пьяную песню, надо, надо...

И Пузику ясно, что нужна ему Палестина, что нужен ему кедр Ливанский, прислониться к нему, вытянуть одеревенелые ноги и, взглянув на небо, еврейское, заснуть у гробницы Рахили-праматери детским благостным сном: будь благословен господь бог, посылающий покой усталым глазам...

И бородавка тоже: кажется, есть махновцы, есть женщины-атаманы, атаманы - волостные писаря, лезут из лесной гущи беглые прапорщики — охотники за черепами, — можно ведь о бородавке забыть, о той самой, про которую много лет назад Яков Мильхикер, фармацевт, острослов и корреспондент «Биржевки», молвил: «комета в кругу исчисленных светил». «Биржевки» давно уже нет. Мильхикер где-то на востоке, не то в Афганистане, не то в Индии, занят дипломатической работой, а комета осталась, и хвост ее остался — у Пузика нет дипломатических способностей, Пузику нужна еврейская колония, рядом с арабскими шалашами.

И фамилия тоже: в полиции при обмене паспорта спрашивали: «Как ваша фамилия? Животик?»

И снова: кажется, всех евреев бьют, бьют Менделевичей, как и Гольдбергов, и батьке Данильчику все равно, в кого штык всаживать — в Бриллианта, в человека с такой громкой фамилией, или в самого что ни на есть завалящего Янкелевича — и все-таки: Пузик, Пузик, Пузик — и хохот.

Должна же найтись земля, где будет простое и гордое: Давид бен-Симон, — древнее, по праву, имя, под древним и своим, по праву, небом.

Трое выкарабкались из теплушки, побарабанив по чужим плечам, по чужим головам, втроем остались на перроне крохотной немощной станции, и сначала разойдясь — один влево свернул, другой напрямик пошел, а третий засеменил с хитрецой, с мешком, будто для обмена из города в деревню, — сошлись потом в избе Корнея Повидлы, поодаль от скученных хат, на отшибе.

У Корнея как бы явочная квартира: торг шел с контрабандистами, кто за сколько на румынский берег доставит,

погреб имелся, где беглецы прятались при условном сигнале и сидели прибитыми, пока жена Корнея не стучала о пол шваброй, и брал Корней куртажные честно, известный божеский процент, — и близко лес, и ведет, ведет путанными тропками к новому берегу для новой жизни.

У Повидлы Вересов подошел к штабс-капитану:

— Позвольте на два слова, — и до вечера шептался с Синелюком: потом ужинали сообща, провиант соединив в одно; Пузик на край скамьи присел — человеческое тело научилось занимать малое место, а скамья длинная и широкая: так бы вытянуться и лечь, но штабс-капитан глаза скашивал и свертков не отодвигал.

Ночью пришлось всем убраться в погреб.

Пузик долго ногой нащупывал первую ступеньку, штабс-капитан толкнул его и прикрикнул:

— Да полезай!

И в погребе, во тьме кромешной, сказал громко и раздраженно:

— Никуда от жидов не уйти, — повернулся и в стенку лбом угодил. — Ох... Сволочь... Всюду лезет.

А присяжный поверенный из другого угла сказал шопотом:

— Не надо, голубчик. Довольно этой национальной розни. В такую минуту надо стать выше. В погребе... Вы только подумайте!.. — и тут же решил, что в первом своем докладе в Париже он назовет Россию огромным погребом, уничтожающим все грани, — погребом, где крестная мука во мраке объединяет всех, уравнивает и очеловечивает.

— Оставьте! — ответил капитан с ударением на «о» и в это ударение всю свою неистовую злобу, как гвоздь в стену, вколотил.

— Из-за них я овшивел. Где мой полк, где мой несессер? И где вся Россия? Ничего нет. Оставьте!

Пузик положил голову на земь, влажную, словно в лесу под кустами. И, как месяц тому назад, при грохоте тачанок желто-жупанников, обветренных, очумевших от крови, водки и женской плоти, заткнул уши.

Вересов закурил; чиркнув, спичка вырезала из темноты ничком лежащую скрючившуюся фигурку Пузика, вырезала, показала и снова слила с темными расплывшимися краями.

— И ему невкусно, — меланхолически протянул присяжный поверенный и огненным кружочком повел в сторону Пузика.

— Оставьте!

Капитан остервенело чесался и устраивался на ночь; присяжный поверенный думал о том, как он, Вересов, всепрощающе-великодушен, и видел себя в кафе Риш; Пузик твердил себе: «спать... спать...» и не отнимал больших пальцев от ушных скважин.

Близко, близко лес — и лес ведет, поведет, уведет убегающими тропинками к новой жизни...

«Ваша фамилия Животик?» — Пузик отчаянно метнулся в сторону, слепо...

— Вставайте! — будил его присяжный поверенный: наверху стучали шваброй.

Светало, своими неведомыми путями, тайными прорехами просачивались в погреб белесоватые тени, штабс-капитан крестил рот и тут же отплевывался.

А полезли вверх — опять штабс-капитану мешал Пузик.

— Вот народец!

В избе, переобуваясь, морщась от грязных, в кровяных пятнах, портянок, говорил штабс-капитан Пузику, битому столько же раз, сколько он сам, очкастый, был бит от Екатеринодара до Орла:

— Сидели бы в России. Теперь она ваша. Не Россия, а Жидовия. Вот ваш... главнокомандующий... Почему бы вам не стать инспектором кавалерии. Ну-с, почему? Не хотите? Не нравится? Маловато? Маловато? — уже тряся штабс-капитан и замахнулся корнеобразным смуглым кулаком, потной портянкой. — Нате-с, нюхайте, чем наградили нас...

Слетели очки; присяжный поверенный толкал Пузика к двери: «на минутку, ради бога, на минутку, уйдите», штабс-капитан на четвереньках шарил по полу.

Пузик отвел руку адвоката, поднял упавшую портянку и положил ее на стол.

— Кушайте на здоровье! — и усмехнулся одними глазами, губами не смог — прыгали они и не слушались — и вышел: Пузик, у кого тройная тяжесть и тройной крест.

От крыльца к опушке уходило поле, серое, мертвое, с сухими буграми, петух за плетнем кукурекал хрипло и лениво. Плыл

туман рассветный от Днестра, и не потому ли безмерно далеким показался лес, зыбко-недоступным — Пузику, бородавке его, которая при штабс-капитанской портянке один раз, впервые, не пожелала свисать, а задралась кверху.

А в обед Повидло привел перевозчика — и снова поникла она: перевозчик запрашивал дорого, Пузик ошибся в расчетах: керенки за эти дни подешевели, перевозчик требовал романовских, а уговорам не поддавался; плохим дипломатом оказался Пузик — это Мильхикеру легко сговариваться с афганистанцами или индусами.

— За всю вашу компанию уступлю тройку, — подобрел перевозчик.

— Этот не наш, — отчеканил капитан, указав на Пузика, чтоб явственно было. — Сколько за двоих?

Присяжный поверенный отвернулся, перевозчик хлюпал носом и мусолил, пересчитывая романовские сотни: мелькали Екатерины. Пузик внезапно разомлевшей спиной прислонился к печи, а печь, хоть и широкогрудая, не поддерживала и все пыталась отодвинуться, — отодвинуться, пошатнуться и упасть.

Лесом шли так: впереди перевозчик, за ним Вересов, последним штабс-капитан в высокой зимней шапке, — куда шапка, туда и обезумевший взгляд Пузика.

А когда, вдруг подпрыгнув на кочке, исчезла она за трехобхватным дубом, Пузик рванулся, а рванувшись, все уяснил себе: и как, за прикрытием таясь, все вперед и вперед итти, и как ступню ставить, чтоб валежник не хрустнул, чтоб ветка не щелкнула, и как обманом, великим обманом напоследок вцепиться в единственную дорожку.

«Как ваша фамилия — Животик?»

Так и было: рванулся...

«Голта наша — жиды ваши. Жарь. У-у-ух!»

Так и произошло: рванулся — и минутой обернулся двухчасовой лесной путь, и кровь послушно застыла, и колени стойко подчинились. И только когда на блеклой стали реки зачернела лодка, и лодку толкнул перевозчик, а штабс-капитан и Вересов плюхнулись туда, — понял, что тропинка подвела, а его, пузикову обману, грош цена.

Но ведь было так: рванулся — и дорвался, один берег кинул, чтоб другого достичь, — нельзя же без берега.

— Ой! Ой! — и, еще осязая дно речное, ухватился Пузик за борт лодки, Пузик по горло в воде, а сентябрьские струи резали и кромсали грудь, но нельзя же без берега.

— Куды, куды, стерва? — шипел перевозчик, ошалело забегавшими глазами щупая румынский берег, но все же весла придержал.

Присяжный поверенный поднялся и протянул руку, лодка качнулась.

— Идиот! — рявкнул штабс-капитан. — Сядьте. Утонем, — а перевозчика увесисто огрел по спине. — Вперед, сукин сын!

Лодка клюнула носом, точно утка, дернулась, виляя кормой, опять клюнула и понеслась — и полетел Пузик за ускользающим дном, быстро, быстро, будто наотмашь швырнули его с избяного порога в погреб — в тьму, навеки.

... Должна же придвинуться земля обетованная под древним и своим, по праву, небом!..

Как облака небесные побежали и сомкнулись речные волны...

Вечер, ночь, другое утро — и опять от Днестра потянуло рассветным туманом, и снова Гранька, жена Повидлы, постучала шваброй о пол, чтоб вылезали из погреба новые беглецы.

Москва
Апрель 1922

МИМОХОДОМ

Еще в июне в отряде было человек триста, тачанок десятка два — обоз, честь-честью, с обозными.

Гаврюха за интенданта, зарубки делал, вроде приходо-расходной ведомости, сколько гимнастерок и штанов увезено с красноармейского склада под Голтой, сколько чаю, бумазеи, хрому и прочего добра бог послал на разъезде двадцатой версты, когда на разобранных рельсах окоченел поезд, передние вагоны кувырком по косогору, а уцелевшие мешочники наутек в лес, и сколько ботинок, сапог да пальто с покойников под обломками.

И максимычи были — пять штук.

Еще к концу июля прибыл гонец от атамана Мурылы, от правобережного, с нижайшей просьбой Днепр перемахнуть, людишек в одно соединить, и не так, чтоб в подчинение, а на правах равных: команда по очереди и дележ пополам.

И Мурыле отвечал Алексей Ушастый, трех сотен начальник и командир над пятью пулеметами (был еще другой Алексей, под Вознесенском, Безухий, кого поймали в прошлом году, обезушили и расстреляли, а оказалось: не дострелялп, уполз с красными пулями и выжил):

«Не хочу, потому что я сам по себе, а у меня не людишки, а партизанские революционеры за волю и землю для российского народа против комиссаров и жидов по тайному и равному голосованию, а ты, сукина сволочь, деревни палишь и на карачках в гетманы ползешь. Долой гетманов, офицеров и всякую власть. Ура!»

Диктовал Ушастый, а писал Симеон, из конотопских семинаристов, углем из костра, потухшего по сосновой доске; доску обстругал Гаврюха...

Гонец доску взял, под рубаху сунул и ускакал, молча, как молча привез письмецо с сургучной печатью и шнурком.

Потом, когда к югу повернули и возле речушки на ночь расположились, Симеон подполз к Ушастому, под кусты.

— Почему ты Мурыле сам не написал, а мне велел?

— Неграмотный я, — нехотя сказал Ушастый и зевнул. — Спи уж, поповна.

— Неграмотный? А у кого записная книжка за голенищем? С карандашиком... А намедни кто в ней все чиркал да чиркал?

Вскочил Ушастый...

Утром двинулись, верст пять отъехали, и схватился Гаврюха: нет поповича — погнал двух в поиски, атамана не спросясь, за что и наказан был Ушастым: в строй отправлен на неделю.

А двое к вечеру нагнали и сапоги Симеона привезли, утопленника.

Ночью Ушастый из-за голенища вытащил записную книжку, исписанную мелким-мелким бисерным почерком, за пазуху спрятал и усмехнулся: не лезь, Симеон, конотопский семинарист, куда не надо.

В книжке прибавилось:

«Любопытно, до какой степени хладнокровия я дойду? Надолго ли я запомню кусты, речку сонную и пальцы скрюченные?»

К сентябрю от трехсот осталось десятка полтора, пулеметы побросали, когда от курсантов росным утром врассыпную кинулись — обильно напирали курсанты, ночью промоинами обойдя, — немотная ночь и не шелохнулась, когда по мураве поползли красные звездочки, сеть сплетая.

И тачанкам — обозу воинскому — конец пришел: интендант-Гаврюха на сосне болтался, высунутым языком иглы лизал.

В комок собранный отряд, в грязи вываленный, катился к румынской границе.

Бодала единственная уцелевшая лошадь — Ушастый крепко в седле сидел, а лицо — как перчатка замшевая: скулы обтянуты, лоб, губа к губе притянута, и все серое — щеки, глаза, и за пазухой книжка в переплете сером.

К румынской границе — для пятнадцати отдых, водка румынская, девки бессарабские, лепешки кукурузные, а для шестнадцатого только действие третье (первое в Москве!) — харчевня

на Днестре, русский офицер в штатском: «Здорово вас потрепали. Ничего, отыграемся», купе в скором на Кишинев, вместе с офицером, отель, салфетки, белье тонкое — после вшей! — чтоб потом опять назад, по степям новороссийским, к грязи, к тачанкам, к перелогам, к ночевкам в лесу, к визгу пуль, к дыму, к крови.

К концу недели уткнулись в железнодорожную насыпь и вдоль пошли; десять верст отмахали — весемь железнодорожных будок обчистили, но маловато: только лук, хлеба немного да крупы ячневой. Ночью деревню обогнули, в овраге притаились: Ушастый разрешил побаловаться, на избы налететь, но с уговором — не убивать и баб не трогать.

Поутру, деревню подпалив, уходил отряд.

Ушастый, стремена напружинив, ждал, пока последний из отряда в лесу скроется, глядел на дым, на снопы огненные и по передней луке пальцами барабанил.

А за лесом, копоть покинув, трескотню крыш, вой бабий и стон мужицкий, повстречали всадника: бугор в поле, а на бугре всадник.

Пятнадцать винтовок одним звяком к плечу, Ушастый коня пришпорил, а с бугра крик:

— Стой! Стой!

И спешился всадник, винтовку на спину перекинул и, руки подняв, к Ушастому.

Окружили: пятнадцать бородачей — все обросли, все в коросте — хриплыми голосами наперебой: «эй... эй!..» — пятнадцать глоток, пятнадцать бородачей, а посередине, в кругу, мальчик, юноша — безусый, голубоглазый, а в глазах голубых ни страха, ни испуга, ровен взгляд.

А из-под козырька старой казачьей фуражки, выцветшей, каштановая прядь по лбу — кудрявая, в крупных завитках.

— Чей?

— Миловановский.

— Врешь!

По мальчишескому лицу смешок пробежал:

— Спроси Милованова.

— А где он?

— За Брозняками. Семь верст отсюда.

Бородачи расцвели: Милованов близко, еда близко, водки, лошадей дадут.

Гонец не обманул: привел к Милованову.

Хотя водкой не угостили, но лошадей дали: у Милованова на поводу табун целый, лишний.

И Ушастый весь вечер с Миловановым шептался, у костра — коньяк пили — командиры! — какими-то бумажками на свету обменивались.

А в провожатые, чтоб с дороги не сбиться и напрямик к Днестру попасть, дал Милованов юнца.

— Дошлый! Золотой паренек!

— Кто он? — спрашивал Ушастый и тяжелым сапогом по углям бил — искры летели, вспыхивали и гасли в темноте.

— А кто знает. Пристал в прошлом годе — и ладно. Парень веселый, хороший парень. Запевало наш. Дай пулемет — с пулеметом справится. Поставь над сотней — сотню поведет.

На рассвете распрощались с миловановскими и тотчас же рысью взяли: тянуло холодком, первая изморозь белым порошком посыпала кончики трав.

Паренек голубоглазый дремал, в седле покачиваясь; сонно сказал:

— Влево, по тропке, — и набок пригнулся; под фуражкой розовело маленькое ухо.

А когда обогрело, паренек запел; пел тонко, приятно, бородачи слушали, Ушастый подсвистывал сквозь зубы, — знакомая песнь, ох, знакомая!

Соловьем залетным юность пролетела...

Расстилалась степь, на горизонте дымило — к Одессе, к синему морю мчался поезд.

В полдень по дороге попалась рощица, темным пятном мелькнула по серой равнине. Ушастый сказал, что можно привалить, велел порядок блюсти, а сам спать завалился, пока похлебка поспеет.

А на привале, когда по роще рассыпались за ягодами да за грибами, бородачи на той стороне наткнулись мимоходом на повозку; в повозке дед старый, девушка с ним, а лошадь пегая на свободе траву щиплет. Деда мигом по рукам по ногам

и кляп в рот, а девушку поволокли: по чину и по дисциплине сперва атаману. Ушастый выругался и молвил, что не нужна ему девка.

Девушка лежала на земле; стиснув зубы, хрипела; бородачи стояли кругом.

— Жеребий кидать, — сказал Мотька с серьгой и загоготал; серьга запрыгала. — Кому перво-наперво.

— Пятнадцать душ... — раздумчиво проговорил тот, кто первый повозку увидал. Патлатый, густо волосами поросший. — Выдёржит? — и носом шмыгнул.

— Сорок и то! — рванулся Мотька и шапку с себя снял. — Хлопцы... Кто шапку закинет... дальче — тому девка для почина. Моя шапка — моя девка, — и кинул.

Полетела вторая, за ней третья, пятая шапка...

Ушастый тряхнул головой и привстал: вытянул шею, следя, куда шапки ложатся, брови сдвинулись — внимательно следил.

— А я? — близко звякнул молодой голос — и оборвался. Расталкивая передних, влетел в круг паренек голубоглазый, а уж глаза не голубели — темными были: темнее рощи, темнее фуражки его.

И — только Ушастый заметил — побелели губы, да завиток мокрый прилип ко лбу.

— Кидай! — гаркнул Мотька.

И боком, вкось брошенным кружком, засвистев, полетела фуражка.

Теснясь, отходили бородачи; на руки взяв девушку, голубоглазый шел к рощице, шел и сгибался: тяжела ноша.

— Не волынь! — кричал Мотька вдогонку и следом шел. — Мой нумёр, моя очередь... Го!

Очередные переминались с ноги на ногу. Ушастый снова лег — грело солнце, хорошо то спину подставить, то грудь — и Ушастый первый же вскочил, первый стал коня ловить, когда вдруг завопил Мотька, из рощи выбегая:

— Утекает!.. Утекает!.. Братцы! Братцы!..

И наперерез справа кинулся Ушастый — рощу огибая, мчался по степи, на коне чужом, голубоглазый, золотой паренек, и по ветру трепалась синяя юбка, поперек коня.

— Ге-ей... Сто-о-ой!..

Конь уходил... Слева, дугу описывая, неслись Мотька и Патлатый.

Мотька вскинул винтовку...

Когда уж седлали коней, чтоб привал покинуть, и уж с паренька были сняты сапоги и гимнастерка, и Мотька сапоги примерял, а девушка на валежнике не дышала под синей юбкой, накинутой на лицо, последним, пятнадцатым, подошел к Алексею Патлатый и сказал угрюмо, точно из лесной чащобы медведь дохнул:

— Девка.

— Ну...

— Что «ну»? Паренек-то — девка. Гимнастерку потянули, а глядь... — и повел к убитому.

Подвернув ногу, лежал паренек, покрытый шинелью до подбородка, кудрилась каштановая прядь — золотой паренек, на траве отдыхает, вот-вот полуоткрытые губы запоют тонко и приятно:

Соловьем залетным...

Ох, знакомая песня, знакомая!..

Патлатый нагнулся, поднял шинель — и под нею увидел Ушастый край рубашки тонкой, с прошивкой, и грудь — маленькую, упругую, девичью, мертвую.

Долго стоял Ушастый, а лицо, — как перчатка замшевая — все серым затянуло. И за пазухой книжка серая — и внесла в нее попозже тугожильная рука, но почерком мелким, бисерным:

«Батистовая рубашка... Голову отдаю, что не краденая, своя, а грудь — как у моей статуэтки Бурделя, которую я когда-то проиграл барону Остену. Что еще попадется мне на моем страшном пути? Удивительная все-таки моя страна, Русь проклятая».

Красково под Москвой
Май — июнь 1922

САЛОН-ВАГОН

...И вечный бой! Покой вам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
А. Блок

До войны он был в личном распоряжении генерал-губернатора одной из восточных окраин.

А так как генерал-губернатор, старик шестидесяти лет, страдал водянкой, разбухнув весь, и почти никогда не расставался со своим дворцом и садом, пышным и занимательным, похожим на сады из арабских сказок, где тонкоголосые фонтаны, замысловатые лабиринты и узорные беседки еще хранили молчаливо-грустные воспоминания о последнем эмире, убитом на пороге его дворца, и так как телеграммы предпочитал поездкам, а халат, мягкий и вкрадчивый, словно улыбка восточной женщины, мундиру, то голубой салон-вагон мирно стоял на запасных путях.

Только раз в году, весной, отправлялся он в Петербург за генерал губернаторской внучкой и привозил из Смольного девочку с косичкой. В его большом зеркальном трюмо между двумя шифоньерками только и отражалось одно: белокурая институточка, худенькая, с большими, не по летам невеселыми глазами, и толстый умильно-широколицый денщик — не то нянька, не то дядька.

Девочка Тоня, а впоследствии Антонина Викторовна Ашаурова, надолго запомнила вагон № 23. Когда летом 1906 года умер дед, и на вокзале трубы, флейты и фаготы провожали его высокопревосходительство в последний путь, а на площади толпами стояли длиннобородые сарты, похожие на фокусников.

и чревовещателей, девочка плакала не только о дедушке, но и о «голубеньком», с которым надо расстаться навсегда. О голубеньком вагоне, где в углу она когда-то нацарапала перочинным ножиком, как это делают все солдатики, и о чем ей рассказывал денщик Прохор, свою тайну, тайну никому не рассказанную, даже лучшей подруге, — свое стихотворение с заглавными буквами в каждой строчке, как в хрестоматии, и над которым долго-долго работали и маленькая голова и маленькое сердце:

Голубенький вагон,
Я люблю тебя, как деда,
Я люблю тебя, как бога,
Если б не было бы бога —
Умерли бы все души.
Если ты меня покинешь —
Я умру.
Голубенький,
И меня зароют, как папу, как маму,
как брата Сережу.

В начале войны судьба сначала закинула его на кавказский фронт, откуда он перекочевал на юго-западный. На юго-западном фронте он был в беспрерывном движении: новый командующий армией жил и спал в нем. Неутомимый и горячий, генерал нигде подолгу не засиживался, с одного места переносился на другое. Не раз вагон попадал под обстрел, не раз вывороченные рельсы и калеки семафоры преграждали дорогу, но тотчас же из соседних вагонов выскакивали солдаты-железнодорожники, чинили — и вагон катил дальше. Покачиваясь мчался вдоль опустошенных полей, мимо разоренных деревень, дрожал всеми своими стенками, — и дребезжало зеркало-трюмо, отражая карты, планы, кобуры револьверов, обветренные смуглые лица французских офицеров из миссии.

А чаще всего энергичный, слегка жесткий, как жестк бывает контур одинокой скалы, профиль того, кто несколько лет спустя (так же склонившись над картой), вздумал повернуть колесо истории России, пытался выдернуть его из колдобоины, хотел направить его к старой Дорогомиловской заставе.

Вскоре вагон заболел — заболел, как болеют люди: подался, где-то лопнули какие-то пружины, дававшие жизнь, где-то что-то

свернулось. Как уносят больного человека, так увели и его лечить: выстукивали, щупали, возились с ним, царапали потрескавшуюся голубую кожу, поднимали, вновь опускали. А вылечили, — пришла к выздоровевшему бумага, что такой-то и такой-то вагон переходит к министру такому-то и такому-то.

Тотчас же заново перетянули кожаные диваны и кресла, переменили гардины, занавеси, навели блеск на все медные части, подновили голубую краску, растянули ковры, — и уже в первую поездку зеркальное трюмо — молчаливый, но всевидящий свидетель — отразило иную жизнь иной полосы. В его таинственной глубине появились бокалы, серебряные ведерки, чарки, замелькали модные дамские прически, камергерские мундиры, фраки, косынки сестер милосердия вокруг накрашенных губ и подведенных глаз, сверкнули серьги, браслеты, свитские аксельбанты, разнокалиберные золотые и эмалевые значки, поплыли кружевные вырезы, лощеные проборы, монокли, голубые жандармские плечи, молодцевато расправленные.

И однажды грузно и жутко обрисовалась в зеркальной глади неуклюжая, как каменная баба в степи, и страшная, как сам рок, вдруг принявший человечий облик, растопыренная фигура косматого сибирского чудотворца и царского советчика в лакированных сапогах и шелковой поддевке поверх малиновой рубахи.

Надолго задержался вагон на Царскосельской ветке; разъезжал редко. А отпрянув от перрона, уносил с собой дикие указы: за каждым словом новое бедствие; дикие проекты, — а самая незаметная черточка их все глубже и глубже рыла пропасть, куда, как по бесовским рельсам, катилась вся страна, — и разнузданную, сумасшедшую волю временщика. И шум колес, отрывистый и резкий, не в силах был заглушить ни стука серебряных занятных стопок с донышками из редкостных юбилейных рублей, ни всплесков женского рассыпчатого смеха.

Под звон, под пьяный гул, под кощунственный хохот шла Россия по своему крестному пути, куда толкала ее холеная рука из окна голубого вагона.

А февральская вьюжная ночь приковала вагон № 23 к какой-то маленькой станции Николаевской дороги, где он застрял на обратном пути из Москвы в Петроград с единственным пассажиром — личным секретарем временщика. И секретарь в ночь

под первое марта сбежал, скрылся. Первого марта чья-то рука мелом вывела вдоль всего вагона:

«Да здраствует риволюця».

Два проводника, лет пятнадцать разъезжавшие с вагоном, привыкшие к нему, как привыкают заключенные к своей камере, наглухо заперли первую дверь в начале коридора и засели в своем чулане.

Старший проводник сказал второму, помладше: «Ну-ну, времечко», второй протянул: «М-м-дда, достукались»,—и стали они оба день за днем следить, как тает снег, как мчатся взад и вперед переполненные поезда, неугомонные, словно вешние ручьи, и как кричат и радостно хорохорятся чуйки, картузы, шинели и студенческие фуражки, все опьяненные допьяна весенней сладкой отравой.

За окном вокзала телеграфист, молоденький, вихрастый, любитель Дюма и автор еще неоконченной поэмы, где главной героиней была великосветская княгиня Беловзорова, не разгибаясь работал днем и ночью, торопился. От усталости глаза смыкались, но надо, надо было стучать, и рука его не сползала с рычажка, и дробно, дробно выстукивал он и, подхватив одну весть, передавал ее дальше—всем, всем, всем,—а уж очереди ждала другая, пятая, сотая -- для всех, всех, всех. И рядом с вестями о новом министерстве, с речами министров, с именами арестованных была и краткая строчка для двух, спящих в чуланчике рядом с топкой: немедленно отправить вагон в Петроград.

И снова очутился вагон у Царскосельского перрона, отдохнув, перешел на Николаевский вокзал, где полоскались красные флаги. А вечером повез в Москву, быстро, быстро, нигде по пути не останавливаясь, кучку людей в пиджаках и гимнастерках. И никто из них не спал всю ночь, и всю ночь в трюмо мелькали возбужденные лица, даже от бессонницы не притихшие, косоворотки, расстегнутые в волнении. И всю ночь проводники кипятили воду и в граненых стаканах с серебряными чеканными подстаканниками разносили по диванам, по креслам мутно-жидкий чай и тоненькие сухарики из последних остатков министерского запаса.

В конце июня вагон перешел в полное владение комиссара Временного Правительства Гилярова, Петра Федоровича, который в Париже был известен под кличкой «Алхимик».

Полный же новый его титул был таков: особоуполномоченный комиссар Соединенной Комиссии по обследованию фронта и тыла.

Высокое зеркало, как всегда, невозмутимо и спокойно отразило фигуру нового хозяина, сутулую и узкогрудую, и френч его неопределенного цвета—хаки с сизым,—и губы его, плотно сжатые, как будто упорные и решительные, но в то же время таящие в углах рта характерные складки болезненного раздумья и тоски, и лоб его, круто выдвинутый вперед, и глаза — серые, как и губы, будто властные и повелительные на первый взгляд, а потом, когда пристальнее вглядишься, надломленные и усталые. Но так как зеркало давно уже не вытирали, и покрылось оно легким слоем пыли, то отражение получилось чуть туманным и расплывчатым, словно замутилась зеркальная глубь и пошла поверху мелкой рябью.

Господин комиссар приказал остаться прежним проводникам и в первый же вечер, случайно увидев, где они спят, велел им занять крайнее купе.

И проводники остались, и подстаканники, и юбилейные стопки, и маленькие строки в углу, детские строчки о любви к «голубенькому».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Господин комиссар диктовал машинистке:

— ...И потому Центральному Комитету необходимо немедленно же вынести резолюцию, что упадок дисциплины в войсках грозит всем завоеваниям революции, и что для спасения их революционная власть не остановится перед самыми строгими мерами, как...

Постукивал Ремингтон, словно другая, уже огромная машина, вторил вагон, чеканя свои собственные, только ему одному понятные слова, ровно горело электричество в матовых грушеобразных колпаках, и матовый свет падал гладко, но безжизненно. У крайнего столика, где тускло блестел небольшой мельхиоровый самовар, осторожно возился вестовой Панасюк,

стараясь не звенеть чайной посудой. Туго натянутые занавески вздувались в открытых окнах, как паруса, встречный ветер упруго боролся с ними, и когда ему удавалось то в одном, то в другом окне слегка сдвинуть занавеску, — в трюмо, как след падающей звезды в небе, отражался на миг лет золотых искр, пропадающих в темноте, куда мчался поезд, и где вдогонку кивали ему расплывшимися кронами ольхи, березы, ясени и сосны.

Поезд, прорезав лесок, выплыл в степь, и вскоре июльская ночь полной горстью бросила в окна запахи трав и жарко распустившихся цветов, бросила щедро, богато, расточительно, как расточительна бывает только после дневного зноя летняя ночь, опоясанная степью.

И на мгновение остановился Гиляров: так остро-волнующе и близко-ощутительно пахнуло мятой.

— ... строгими мерами, как...

И еще ворвалась горько-сладкой струей дразнящая полынь.

Машинистка, не отнимая рук от клавишей, повторила:

— ... строгими мерами, как... — Дальше?..

Но Гиляров уже стоял у окна, отдернув занавеску, и не слышал.

Машинистка подняла голову и, глядя поверх бумаги, переспросила:

— Как?

Господин комиссар не отвечал — перегнулся он через окно, и только виден был широкий хлястик его френча. Машинистка усмехнулась; за короткое ее пребывание в вагоне, что-то всего около месяца, Гиляров уже в третий раз приводил ее в полное недоумение: в первый раз своим вопросом, неожиданным, посреди разговора о грядущей революции в Германии: «А вы любите церковное пение?» — затем своей просьбой не называть его товарищем, а по имени-отчеству — и вот теперь в третий. А так как машинистка, барышня из Клина, уже успела за март месяц стать членом городского района Петроградской организации, то поведение комиссара, облеченного особо важными полномочиями, казалось ей более чем странным. В таких случаях короткая пренебрежительная усмешка являлась насущным делом — и, усмехнувшись, она откинулась к спинке стула. Замер у чайного столика и вестовой Панасюк,

попросту считавший, что нельзя беспокоить начальство, когда оно изволит думать.

И никто не мешал Гилярову, как и никто не знал, о чем думает он и что видит он в степной темени, где только изредка, как будто вынырнув из глубокого омута, внезапно появлялся один — другой огонек заброшенного хутора, притаившейся усадьбы.

Да и что можно увидать в темной степи, когда только изредка вспыхивают искры паровоза и сейчас же гаснут в полете, делая ночь еще темнее, а степную даль еще глубже?

II

Но «алхимик» Гиляров, бывший ссыльно-каторжный, бывший террорист, бывший эмигрант, бывший студент, а ныне комиссар, особоуполномоченный и т. д., видел многое. И не только от мяты кружилась голова, и не только от полынного ветра замирало сердце под сизым френчем.

Или, быть может, именно мята и полынь, — эти чудесные запахи родины, — обо всем напомнили и, напомнив, сердце подтолкнули и мысли? — кто знает...

А сердце колотилось быстро, тревожно, точно накануне неожиданного счастья или еще неизведанной боли, боли, перед которой побледнеет все прежнее больное, и мысли неслись быстрее насыпи, ветра, быстрее степи.

Степь! — как дышит она, какой усладой нежит она и щеки, и глаза, и руки. И как давно, как много лет он не видел ее, он, алхимик, погруженный в книги, и он же, ненавидящий их, как ненавидят дверь, в которую стучишься, стучишься без конца и должен стучаться, чтобы за ней увидать все или ничего. Сколько раз под чужими небесами он думал о ней и тянулся к ней, и как часто она всплывала то в рюмке абсента, то в таблицах о «безлошадных», то в тоненьких листиках заграничных изданий.

И вот она пришла, она здесь, она перед глазами — что же говорит он, что несет он ей, какую весть, каков подарок, какое знамение?

Дверь открылась, человек достучался, — что же за дверью: все или ничего?

III

Ширился, рос, крепчал томящий запах, от степи несся к поезду.

Стоя в окне своего салон-вагона, Гиляров видел сон наяву, где явь сегодняшнего дня месяцев восемь тому назад была бы невозможной, даже и во сне, под крышей мансарды на rue Santé, куда Париж, как бы в насмешку или в назидание и поучение русским пришельцам, на один конец бросил сумасшедший дом, а на другой — в начале улицы, заполненной «этими господами» в косоворотках и нелепых шляпах — тюрьму.

Сон наяву, сон странный и временами непостижимый, где одно видение, не успев обрисоваться, уже рождало другое, более сумбурное, и, сплетаясь с третьим, десятым, сотым, чертило огромный круг, куда таинственная — кем предначертанная? — судьба бросала все новые и новые звенья. Каждое звено было отлично от другого, как разнилась сибирская каторжная тюрьма от Сорбонны, и каждое звено не подходило к другому, как не подходил арестантский бушлат к кимоно крошечной гейши в Нагасаках. Но все же звено примыкало к звену, и смыкались звенья, и грани стирались.

И ковался, ковался загадочный круг и куется дальше, забрав, забирая в себя, словно назло всему земному, разумному, но во имя неразумного свыше, неразумно нужного, и Черемховский рудник с вагонетками, и номер в петербургской «Астории» с чемоданом бомб в ногах английского инженера Джона Уинкельтона, и кандалы, и лодку-душегубку, плывшую по Амуру вниз, к океану, к Азии, к воле, и смертный приговор, выслушанный в здании военного суда, и ночное парижское кафе возле Halles, когда на рассвете шумит железный рынок, загроможденный товарами, цветами, птицами, рыбами, фруктами, а русские гости, подневольные, пленные, плачут над стаканом вина, удивленным Марьэттам и Жаннам поют «Лучинушку» и, запинаясь от слез, водки и удручающей тоски, рассказывают под смех собравшихся сутенеров о том, как далека Россия, как хочется к ней, любимой, близкой и единой.

И карцер, узкий, как гроб, откуда, кажется, не выйти живому, и ночь в Колизее, когда перед глазами стоял Кремль,

и копенгагенское Тиволи, и пеструю толпу мелкорослых японцев, где посреди русская сутулая спина мелькала безобразным пятном и казалась в тысячу раз более уродливой, чем все бумажные драконы, парящие под аметистовым небом в час шумного праздника. И нетопленную комнату на rue Santé, где жизнь билась, как птица в силках, между тюрьмой и сумасшедшим домом, и сербский походный госпиталь, где корчились от ран стройные македонцы. И гул снарядов над Лесковацом, и бегство в Ниш, и палубу норвежского угольщика, и переполненный взвинченной толпой коридор Смольного, и залы Таврического Дворца.

И знамена, знамена красные, как кровь человеческая, и толпы на Невском, и салон-вагон с зеркалами, с голубыми мраморными умывальниками, с фарфоровым в гербах сервизом.

Круг, охвативший Сибирь, Азию, Францию, Англию, Балканы, фиорды, бурятские степи, скаты Малого Хин-гана, звенья подбиравший в угольных копях, на амурских баржах, в морских кабачках разноплеменного Марселя, в кибитке кочевников, в тесной комнате подпольной редакции, в курильне Шанхая, на эмигрантских вечеринках, кошмарных на рассвете, когда все выпито и все больные слезы выплаканы, в общих камерах тобольской каторги, на пляже итальянской деревушки, — этот круг покрыл еще:

степь, июньскую ночь с полынью, и бумаги с донесениями представителей воинских частей о гибели той, над которой рыдали в Париже и молились в Торнео, трепетно приближаясь к ее земным желанным границам.

IV

Плыл и качался вагон, стучали в разбивку колеса.

Стоя у окна, Гиляров отчетливо видел в немой темноте все очертания дней, событий, лиц — весь круг, и себя посредине его, и еще одно новое звено: свою длинную телеграмму в Смольный о том, что во имя завоеваний революции и спасения родины надо принять самые строгие меры, как...

V

Гиляров отошел от окна, резко рванув занавеску вниз; машинистка выпрямилась и положила руки на клавиши, изогнув кисти, словно пианистка перед началом трудного пассажа.

— Пишите, — сказал Гиляров, подходя к машинистке. — Как, например... Уже? Вычеркните «например». Пишите: как твердое и категорическое осуждение и презрение революции всем тем, кто... — и вдруг, скривившись, точно от внезапного ожога, крикнул, взвизгивая, срываясь на высокой ноте: — Не надо, разорвите. Идите спать! Не надо!..

Панасюк остолбенел на месте со стаканом в руке; звякнув, упала ложечка.

Плавно покачиваясь, на поворотах вздрагивая, вагон мчался все дальше и дальше.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Штаб 16-ой дивизии находился в бывшем графском имении Нейшван. Чтоб добраться туда, Гилярову пришлось за Венденом с шоссе свернуть на проселочную дорогу, где мокли вялые худосочные березки, где на исковерканных проволочных заграждениях уныло торчали чахоточные галки.

Когда дорогу преграждали заброшенные окопы, похожие на ряд начатых, но недоконченных рытьем могил, полные зеленоватой воды, лошадь пятилась назад, и Гиляров, спешившись, брал ее за повод — и всадник и конь пробирались по кочкам, то подскакивая, то глубоко уходя в густую желтую грязь, — оба унылые под осенним предвечерним ветром.

А в штабе сразу позвали к прямому проводу — уже в третий раз командир корпуса нетерпеливо справлялся о приезде комиссара. Не успев обсохнуть, Гиляров пошел к аппарату; стоя за спиной телеграфиста, глядя, как тянется белая лента и неуклонно покрывается буквами, мокрым рукавом шинели вытирал грязь с лица.

От рукава пахло кислым, напоминало запах этапки, где человек сто лежат вповалку после длинного перехода под

дождем; у телеграфиста, чистенького и аккуратненького, в новенькой гимнастерке, голова была в мелких кудряшках и напомажена, как у писаря из полковых любимчиков, и этот сладкий до гадливости запах сливался с первым. Гиляров морщился, глотал липкую слюну, едва выдавливал слова и изнывал в ожидании конца переговоров. Но командир распространялся, дважды повторял одно и то же, и хотя по повторности и по любой фразе заметно было, что он взволнован до испуга и ждет тех или иных, но во всяком случае немедленных поступков комиссара, все же не отпускал его от аппарата.

И разматывалась, разматывалась бумажная лента, такая же долгая, как только что покинутая проселочная дорога, и такая же тусклая, безрадостная, и даже буквы были похожи на тех общипанных голодных галок, которые обмызганные перья свои трепали о проволочные колючки.

— Хорошо... Хорошо... — с усилием выдавливал Гиляров слова. — Хорошо, генерал. Я к вечеру все выясню. Всего хорошего.

— Примите во внимание, что беспорядки перекинулись в соседнюю дивизию, — не отпускала лента. — Примите во внимание, что образуется прорыв чуть ли не в пятнадцать верст... Примите во внимание...

— Все приму. Все... — еле-еле отвечал комиссар и судорожно поводил головой, отворачиваясь от писарских завитушек.

II

На обратном пути из аппаратной его тут же у дверей перехватил начальник дивизии, круглый, безбородый генерал, ниже среднего роста, но затянутый в талии, голубоглазый, с сединой в височках, неторопливый в своих округленных движениях, слегка грассирующий, похожий на тех генералов, что в старые времена на Мойке отбирали у просителей заявления и прошения и неизменно корректно и мягко отвечали: «Обязательно. Немедленно. Сочту своим долгом».

И только когда он запер дверь своего кабинета, два раза щелкнул ключом и даже попробовал, крепко ли заперта, Гиляров понял, что голубые глаза только по привычке беззаботны

и чуть-чуть игривы, а пухлые руки с перстнем старинной чудесной работы не суетны и сдержанны, но что на самом деле генералу жутко. И по тому, как он попросил его присесть и как раскрыл золотой с вензелем портсигар, предлагая папиросу, Гилярову ясно стало, что генералу не по себе, что он не знает, как начать разговор, и что смущен он встречей и не уверен в себе, боится не в тон попасть, не так сказать, как надо, а сказать-то хочет и знает, о чем надо сказать, даже и слова подходящие знает, но вот убежали они, сгинули.

От генерала тоже пахло, но уже по-другому, и уже не тошнило, не было в горле противного подкатывающегося комочка, от которого скулы немеют, и потому легче стало, но попрежнему плечи давила сырая шинель, и попрежнему мерзко липли к ногам намокшие носки.

Генерал заговорил о скверных латышских дорогах, о том, как вязнут пушки; Гиляров слушал, все бормотал:

— Да-да,— и, поддакивая, думал, глядя на генерала: «На кого он похож? На кого он похож?»— и даже занервничал от желания вспомнить, как вот бывает на вокзале, когда поезд уходит, и в окне мелькает чье-то лицо, такое знакомое, близкое. И, наконец, вспомнил детскую книжку «Векфильдский священник» и картинку к ней: круглое лицо, височки, полный, мягкий подбородок, ласковые глаза и воротник вроде жабо.

А за окном одна на другую громоздились лохматые, растрепанные тучи, бился по ветру сломанный флюгер на изрешетенной пулями башенке, полз за поворотом обоз с фуражем, и на высоких покачивающихся глыбах сена крошечными серыми комочками виднелись солдаты.

«Векфильдский священник... А солдаты требуют его удаления... И домой хотят... Мир дому сему... А в окна стреляют»,— и ласковый генерал, и съежившиеся фигурки на фургонах, и уцелевший гобелен на стене, и столетняя башенка, и мокрая шинель на плечах — все это внезапно почудилось таким нелепым и сумбурным. Гиляров поднялся со стула, генерал встрепенулся:

— Куда вы? Куда вы?

И вдруг голубые глаза потемнели, опали сочные губы, и сразу обмякли генеральские плечи — и стоял перед Гиляровым растерянный, напуганный человек, ошарашенный ударом, вот

как бьют сзади на ходу в пустынной улице, вынырнув из переулка.

Чувствуя, как у него холодеют ладони, Гиляров шагнул к генералу.

— Все уладится. Все уладится,— зашептал он прерывисто.— Мы еще повоюем...— и неловким движением обнял генерала, а когда он, высокий, обнимая, поневоле должен был пригнуться, чтоб рука его не задела генеральской макушки, он увидел, что генерал плачет, беззвучно,— только холеные щеки заходили, и побежал к переносице ряд внезапно появившихся морщин.

III

Вечером в соседнем флигеле Гиляров присутствовал на заседании дивизионного комитета.

Председатель, солдат с усеченной головой и белками на выкате, задыхаясь, кашляя нудно, докладывал, какие, по его мнению, должны быть приняты меры для успокоения взбунтовавшихся солдат, и перечисляя пункты, при каждом из них выпрастывал косым движением головы зобастую шею. В это время вестовой принес Гилярову из штаба письмо от генерала. Под шум споривших и речь с цитатами по-латыни — говорил уже другой член комитета, вертлявый еврей-фельдшер с носовым платком в руках,— Гиляров читал письмо генерала:

«Мне не стыдно, что я, боевой генерал, бывший ординарец Скобелева, плакал. Мне не стыдно, что я, георгиевский кавалер, разревелся, как новобранец при приеме, но я не хочу, чтобы мои слезы вами были неверно поняты и ложно истолкованы, ибо эти слезы не страха ради, не из опасения за свою жизнь. Я не раз глядел смерти в глаза, погляжу и сейчас, и если, дай бог, случится, то приму ее не на четвереньках. И плакал я даже не потому, что любимая мной дивизия потребовала моего изгнания, хотя нет ни одного солдата, которого я бы обидел даже до переворота, хотя с того дня, как я принял ее, я был только с нею, только ею жил — и под Ригой, и под Двинском, и каждый солдат знал меня, как я знал каждого из них. А вот кто спасет Россию? Кто спасет нас всех и всех нас укроет? Все мы одинаково бедны и все мы одинаково бессильны. Я не скрою,

и смешно было бы скрывать: я не республиканец, мне дорога была монархия, и тридцать лет своей жизни я отдал ей, но пошла старая Россия прахом, восстала новая — и не судить теперь нам, было ли это хорошо или плохо, кто виноват, и кто довел — встала новая, и пусть мертвые хоронят мертвых,— значит, так надо, значит, такова судьба — и да идут вперед живые. Но почему, почему живые уже мертвы? Но почему все глубже яма, куда мы ползем со страшной закономерностью, и почему от этой закономерности не уйти? Вы, конечно, пожелаете объехать полки. Вас примут, вас не прогонят, вас выслушают, вы не золотопогонник и вы как будто свой, но вы тотчас же убедитесь, что нет исхода, и что вы и они — как древние строители Вавилонской башни. Над этой башней работают в Москве и в Киеве, генералы и последние безграмотные пастухи, министры и грошевые репортеры, чудь и мордва, талантливые и бездарные, добрые и злые. Растет башня — и ничего с этим не поделать. Взбунтовалась моя любимая дивизия — вы услышите, что вам будут кричать из рядов, когда вы с ними заговорите, — завтра другая, третья, но разве дело в этом, и разве рухнет чудовищная башня, когда дивизия согласится выйти на позицию, когда все дивизии подчинятся? Нет, нет и нет! А почему? Я не знаю, потому я и плакал. И если бы сейчас собрать всех генералов, всех купцов и всех ученых, как вот завтра вы соберете всех солдат, и пусть мой любой солдатик пойдет к ним и, как завтра вы, станет объезжать их ряды,— та же башня встанет. Я подъеду — то же самое. Потому искренно говорю, что мне страшно, потому я смерти хочу, как избавления. Не дивизия взбунтовалась и хочет покинуть передовые позиции, а вся Россия поднялась с насиженных старых мест и идет. Куда? Куда? Идет неуклонно вперед, или неуклонно падает в пропасть? Не знаю, не знаю, но закономерность я чувствую и сгибаюсь под ее железной волей. Сегодня плакал я, быть может, еще многие возле меня, вот плакал вчера капитан Снитников, которого в сумерках подкараулили у цейхгауза и дали камнем по голове, а капитан Снитников в 1906 году только чудом спасся от суда за участие в военной социалистической организации, и еще недели три тому назад солдаты прислали мне резолюцию, что мне они не доверяют, так как я «царский», и хотят, чтобы начальником

дивизии был назначен свой — капитан Ситников. А завтра, послезавтра заплачем все: и те, кто с камнем, и те, кого камнем по виску. И если вы, господин комиссар, при объезде спросите любого солдата, любому заглянете в глаза, вы увидите... Ах, впрочем, все равно: и вы, и вы знаете... Ваш покорный слуга»...

IV

— Товарищ комиссар, — хрипло проговорил председатель.

Гиляров недоуменно поглядел на него и вернулся к письму; кто-то из солдат хихикнул, председатель натужно повел шеей, стало тихо, — и легонько тронув Гилярова за плечо, фельдшер зашептал скоренько:

— Вас зовут, товарищ. Вас.

Гиляров сжал письмо и подошел к столу; зашевелились в углах, и только теперь заметил Гиляров, что в комнате много солдат, и что все они блеклые, пожухлые, словно не то не выспались, не то накурились до одурения. Дымились трубки, папиросы, собачьи лапки, потели окна, в углу на куче шинелей спали беленькие котята, и точно на дозоре сидела возле них бесхвостая кошка. На столе лежала груда газет — армейских и столичных — и молоденький офицер, как потом оказалось, секретарь дивизионного комитета, подпоручик Разумный, разложив поверху лист бумаги, вел протокол. Пальцы его и губы темнели в лиловых пятнах от чернильного карандаша; стриженный бобриком, с заячьей губой, безусый и угловатый, подпоручик до смешного смахивал на гимназистика с последней парты, даже гимнастерку он то и дело одергивал по-мальчишески, даже поясок у него был с аллюминиевой пряжкой.

V

— Вот, товарищ, — тянул председатель, и зоб его лез наружу, — наша резолюция такая, чтоб уладить по-мирному. В обед заявились к нам дилигаты из стрелковой дивизии, там тоже будто неладно и сухари к концу, а полушубков не везуть.

Фельдшер всем своим туловищем повернулся к Гилярову, говорил он правильно, но слишком отчетливо:

— Каково ваше мнение, товарищ комиссар? Мы хотели бы знать. Принимая во внимание ваше...

— Я хочу поговорить с солдатами, — сказал Гиляров и еще крепче сжал письмо.

— То-есть с полковыми представителями. Они тут, — улыбнулся фельдшер. — Это и суть дивизионный комитет. На началах вроде паритетных...

— Со всеми, — угрюмо перебил Гиляров. — Я объеду полки.

Фельдшер согнал улыбку и, махнув платочком, крикнул:

— Собрание объявляется закрытым.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Еще только сумерки надвигались, как ветер упал, и, поредев, расползлись облака.

Когда Гиляров покинул флигель, уже над всклокоченными полями, над дальним леском, над разрушенными усадебными пристройками висела луна. В неверном, как туман, но неподвижном свете, сумрачно и гордо, как обнищавший рыцарь, вставал изуродованный замок, бывший великолепный Schloss Neuschwann, где некогда древний герб украшался мальтийским крестом, где однажды гениальнейший музыкант прошлого века в отдаленной комнате, обитой темно-синим трипом, посвящал графине Вермон-Нейшван свою бурную, как он сам и как его жизнь, свою пламенную, как его неугомонное сердце, сонату.

От ворот замка далеко уходила аллея в тополях, некогда прекрасная, как непрекращающаяся галлерея готического собора, а теперь вся искалеченная, с прорехами от снарядов, с вывороченными корнями, с рытвинами, с надломленными верхушками, и в широкие просветы издали блестело гладкое, ровное озеро, такое же бледное, как лунный свет, такое же невозмутимое и мертвое, точно огромное серебряное зеркало, на которое дохнули.

Солдаты расходились, сворачивали в сторону — и силуэты пропадали за различными постройками без крыш, покосившимися, горбатыми, за стенами с уродливыми впадинами вместо окон.

Упорно глядя на озеро, Гиляров направился к нему, но услышал позади себя шаги: за ним следом шел подпоручик Разумный.

Когда комиссар остановился, подпоручик метнулся было в сторону, но вдруг обернулся к Гилярову и по-детски неестественным басом спросил:

— Можно мне с вами?

И, не дождавшись ответа, подошел совсем близко и сказал:

— Мне так нужно с вами поговорить.

И заячья губа его еще выше задралась кверху, точно он, как мальчишка, от волнения носом шмыгнул. Фуражка была у него в руках, шинель расстегнута, из бокового оттопырившегося кармана торчал сверток бумаги — сегодняшний протокол собрания, а может быть, и вчерашний, — и на одной штанине, повыше колена, наивно и убого лежала черная большая заплата.

— Со мной? — переспросил Гиляров и передернул плечами: от озера тянуло холодом. — Хорошо. Вот... Скажите... Вы знаете капитана Снитникова?

— Знаю, — ответил подпоручик и надел фуражку, и сразу он стал старше на много лет.

— Он где лежит? В лазарете?

— Нет, в штабе.

— Вы можете меня проводить?

— К нему?

— Да, да, вам не трудно?

— Помилуйте, — чуть не крича, ответил подпоручик. — Я даже... так рад этому, — и, покраснев, заспешил.

II

Гиляров шел за подпоручиком,—и вбок уплывало озеро, будто таяло. Тополя расплывались, за поворотом чернела новая башня с рассеченной пополам главкой, а в треугольной комнате, где туго нависал сводчатый потолок, и за бумажным крохотным экраном оплывала свеча в позеленевшем от времени массивном подсвечнике, Гилярову навстречу приподнялась с подушки сплошь забинтованная голова. Глухой, но твердый голос спросил:

— Кто тут?

Под прямыми черными усами сверкнули плотные, плоские зубы, сильные, крепкие, как крепок был удар, от которого эти зубы, раз скрипнув, застыли в кривом оскале.

— Вам нельзя волноваться, — бережно уговаривал подпоручик и поправлял откинутое одеяло.

— Я не волнуюсь, — кривился капитан Снитников. — Я только отвечаю, раз меня спрашивают. И, надеюсь, господин комиссар слушает меня не из праздного любопытства. Не так ли? И не для очередной статьи? В газете, в благонамеренном органе, на горячую тему о разладе между погонами со звездочками и погонами без всяких звезд!.. А, вы не пишете? Тем лучше. И я никогда не писал. Я только дело делал. Как и те, что тоже никогда не писали и тоже только делом занимались. Как вчера... за цейхгаузом. Тоже дело. Да-да, дело, дело. В этом-то все дело. Я острю неудачно, но это простительно. В пятом и шестом году мы не острили, и когда по очереди нас хватали и ссылали на каторгу...

— Я был там, — почти шопотом, с усилием проговорил Гиляров.

Белая голова взметнулась выше, и опять за изголовьем послышался голос подпоручика: — Вам нельзя.

— В Алгачах? Нет? Где же? В Тобольской? Значит, вы знали Первухина, Кочетова? Господи, знали! И я туда чуть было не угодил, но нелегкая выручила. А те... ведь ни один из них не вернулся... Было их четверо. И вот мы могли с вами встретиться там, и там бы вместе молились: грянь, грянь, буря! А встретились тут. И вот я избит, а вы... Вы будете тоже избиты, будете, — рано или поздно, но будете, будете. Там бы нас били тоже, но чужие. Ведь были тогда и свои, и чужие. И вот все свои очутились вместе. И вот свой подкарауливает — и камнем, камнем раз, другой, третий. Подпоручик Шаповаленков на суде говорил: наступит час, когда нас, вами осужденных, вами ошельмованных, русский народ, русский солдат встретит радостно, любовно и вместе с нами пойдет... К цейхгаузу? Крадучись? Навалившись сзади?

Еще выше взметнулась белая голова.

Суетясь у изголовья, подпоручик Разумный молил:

— Ради бога...

— Оставьте! Шаповаленкова казнили, и он перед смертью крикнул: да здравствует революция! Капитана Снитникова проклятая, трижды проклятая нелегкая уберегла от расстрела— и вчера ему крикнули: эх ты, сволочь! Капитана Снитникова угнали в Оханск, и в Оханске, на берегу Камы, в лесочке твердил он солдатам: ничего, ничего — будет, будет светлое царство. Капитан Снитников при первой телеграмме из Питера выскочил из окопов и заорал восторженно: наша взяла, наша! А вот вчера Шаповаленкова, Снитникова, тобольчан колошматили за цейхгаузом. Бедный Шаповаленков, бедный Снитников, бедные тобольчане, не пожелавшие помилования — все с повязками и бинтами. Остановите все заводы — и пусть только выделывают бинты. Много их понадобится, много. Запасайтесь, спешите запастись. Ничего не надо, кроме бинтов. Торопитесь выделкой, торопитесь. И пошлите к дьяволу все газеты, все передовые и задовые, пинком опрокиньте все трибуны, разметайте по ветру все книжки, брошюрки, реляции и резолюции. Оставьте только одну резолюцию: желаем, штоб все похерить. Оставьте одну резолюцию: у российского цейхгауза все попрежнему; оставьте одну книжку: руководство для наложения повязок. О, о, чорт!..

Клубок бинтов заметался по подушке, и между ним и Гиляровым тотчас же выросла напряженная фигурка подпоручика Разумного, и фигурка замахала руками.

Гиляров вышел из комнаты, спотыкаясь в коридоре о ящики, наугад побрел к выходу, в одной комнате запутался, в другой опрокинул столик, и, наконец, добрался до крыльца, где некоторое время спустя подпоручик нашел его сидящим на верхней ступеньке.

Подпоручик молча присел рядом, и оба долго сидели — один слишком прямо, как будто его насильно держали в таком положении, другой согнувшись, маленькие, как у ребенка, посиневшие ладошки сжав коленками, оба не спуская глаз с озера, где раньше плавали черные лебеди и сильным крылом били по воде, где когда-то в ажурной беседке читали вслух Новалиса.

И слушали, как рядом, за освещенными окнами, стучали ножами, вилками, гремели тарелками: господа офицеры из штаба ужинали.

III

Молчание нарушил подпоручик; он продолжительное время ерзал на одном месте, и когда до боли натер ладони, робко заговорил:

— Мне можно завтра? Вместе с вами?

— К чему? — спросил Гиляров, не оборачиваясь, все пристальнее и пристальнее всматриваясь в озеро.

— Да вот... — подпоручик поглядел в небо — туда, где белесоватый круг замкнул луну, — и замигал ресницами. — Да я... Ведь я секретарь комитета... Меня солдаты... — и вдруг воскликнул жалобно: — Я не могу иначе. — И не то горестно, не то сконфуженно кинулся с крыльца, стуча громоздкими, не по ноге, сапогами.

— Постойте! — негромко окликнул Гиляров.

Подпоручик остановился и ниже надвинул фуражку; длинный козырек почти уткнулся в нос.

— Постойте. Хорошо, поедем вместе. Присядьте.

Подпоручик сел на нижнюю ступеньку, отвернулся, поднял воротник шинели, и комиссар увидел, что левое ухо его загнулось, как-то смешно, грустно и обиженно. Комиссар подался вперед, протянул руку, чтобы поправить, но тотчас же отнял ее, опять выпрямился и только спросил:

— Вам тяжело?

— Ужасно, — быстро отозвался подпоручик.

— Уезжайте. Хотите — я это устрою. Только скажите, куда бы вы хотели.

— Куда? — и снова подпоручик глянул в небо и снова заморгал ресницами. — Все равно, — проговорил он как бы про себя. — Все равно, — и заячья губа его дрогнула.

— Везде?

— Везде, — сказал подпоручик.

— А вы верите, — Гиляров с трудом подбирал слова, — а вы верите, что еще будет хорошо? Что еще... сбудется?

Подпоручик стиснул руки под шинелью и ничего не ответил.

— Значит, все равно?

— Все равно, — ответил подпоручик и голову положил на перила.

IV

Часа два спустя, уже вызванный командующим армией к аппарату и поговорив с ним, Гиляров шел к генералу. По дороге попадались ему офицеры и безмолвно кланялись, в столовой два солдата подметали пол, и один из них, увидав комиссара, бросился к буфету за салфеткой и прибором, но Гиляров остановил его, заявил, что ужинать не будет. В комнатке перед кабинетом генерала, в золоченом облупленном кресле дремал вестовой, и кренился над ним потемневший портрет женщины в розовом, безглазой: вместо глаз — пульки. Не будя вестового, Гиляров постучал в дверь.

— Войди, — послышалось за дверью.

Гиляров толкнул дверь.

— Это не вестовой, — сказал он на пороге. — Это я.

Растерянно натягивая на себя одеяло, генерал непослушными ногами ловил туфли, не мог найти и присел на краешек постели; под тонкой шелковой фуфайкой блестел крестик, и на покрасневшей мигом шее забелел узенький след от цепочки.

— Я не знал, что вы уже в постели, — продолжал Гиляров, все еще стоя на пороге.

— Прошу, прошу, — бормотал генерал и теребил подбородок и приглаживал височки.

— Я на рассвете еду к солдатам. Я только что говорил с командиром, и я хотел вас предупредить. Я еду на все. Или они завтра к вечеру займут указанное место. Или я... Ну, и вот. Через час сюда направится третий драгунский, одна батарея и казачья сотня. Утром будут здесь. Если угодно, вы можете сдать дивизию полковнику. И можете уехать в штаб армии. Так вот... остаетесь?

Генерал оставил височки и качнул головой; сползло одеяло, и под фуфайкой заколыхался выпуклый толстый живот.

Гиляров отвел глаза.

— Так вот, я еду. До свидания. А письмо ваше...

Генерал зашаркал ногами, снова стал искать туфли.

— Письмо ваше... мне понятно. Всего хорошего.

— Господин комиссар...—тихо, но внятно позвал генерал.— Если вам не трудно... на полчаса...

Гиляров отпустил ручку двери, беглым взглядом поймал неуверенную, надломленную улыбку генерала и, на ходу сбрасывая шинель, подошел к кровати: «Векфильдский священник... Все равно».

V

И до рассвета горела лампа в генеральском кабинете, где над кроватью висел гобелен «Похищение Прозерпины», и где по столу с картой обоих полушарий торопливо, по-осеннему шмыгали тараканы, невозмутимо переходя из Европы в Азию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Чуть свет выехали втроем, верхами; присоединился и председатель дивизионного комитета. А фельдшер провожал и на прощанье скороговоркой, но внушительно давал председателю последние наставления, на ухо, встав на цыпочки; скособочившаяся голова председателя никла к лошадиной гриве и кивала послушно.

Первым на очереди был Старорусский полк, самый надежный.

У избы с погорелой крышей, где заседал полковой комитет, солдаты собирались вяло, по два, по три человека, отмахивались, когда комитетчики поторапливали, на ходу в липняке ломали ветки, но тут же, поиграв прутьями, бросали их, лениво перегругивались, нехотя перекликались. Стоя у окна, следя за ними, Гиляров видел перед собой скучающую толпу, не знающую, что ей делать: улюлюкать ли проезжающей мимо бабе в рваной австрийской куртке, или колотить рябого плосколицего солдатика с сережкой, который приставал ко всем, заламывал шапку, притоптывал ногами и кукурекал по-шутовскому. За его спиной подпоручик Разумный, уже застегнутый на все пуговицы и потому сосредоточенный, шептал:

— Не будут слушать. Вы одно только слово скажете, как они уйдут. Так было на прошлой неделе, когда мы умоляли взяться за постройку землянок. Повернулись и ушли.

Зобастый председатель, загнав комитетчиков в угол, что-то хрипел им, и раздавалось там то и дело: «Риволюция, значит...

значит, порядок надобен»... Безостановочно хлопала дверь, шинель напирала на шинель, в подслеповатое оконце заглядывали узкие, толстые, вздернутые носы, недовольный голос тянул: «Санька, где ты?», у крыльца пофыркивали лошади, и солдат-татарин, заткнув полы за веревочный пояс, совал лошадям мокрое сено и уговаривал ласково: «Кускай. Кускай».

И этот же татарин прямо глядел в рот Гилярову, когда тот с табуретки говорил солдатам, и он же радостно пискнул: «Ца, ца-ца», когда кривоногий ефрейтор с багровым родимым пятном во всю щеку крикнул комиссару:

— А зачем вы всякую сволочь в министерах держите? Не хотим таких. Кого в Париж посулом отправили? Капиталиста. Такой все посулит. Пусть вертается — тогда и говорить будем. Не пойдем!

Весело захлебывался жизнерадостный татарченок: «Ай-ай, министра, ай-ай», добродушно, как только что упрашивал лошадей «кускать», — единственный весельчак, вертевшийся во все стороны, точно недавно оперившийся воробей среди серых и голодных галок.

II

И снова лошади понуро шлепали по лужам. Снова у Гилярова из-под ног убегали стремена, и снова придвинулась новая «комитетская» изба, но с тем же запахом ржаного хлеба и махорки. И опять кто-то звал недовольно: «Гришка, где ты?», и опять солдаты тащили табуретку, а вокруг нее смыкались кольцом такие же, как в Старорусском полку, сухо замкнутые глаза.

И снова самому себе слова казались никчемными, и снова и снова тянулись поля, взрыхленные снарядами, придавленные пушечными колесами, обмытые кровью, человеческой кровью, которую временно лишь смыли дожди, но которая вновь и вновь польется по ухабам, по колеям, по межам и на многие годы напоит землю — землю людскую, землю божью, землю ничью и всех.

А перед вечером Гиляров в аппаратной дивизии диктовал в полковые штабы о немедленном распространении по полкам его приказа о том, чтоб под угрозой военной силы полки складывали оружие и выдавали зачинщиков, и что если к семи часам

утра не последует сообщения об исполнении, дивизия будет окружена и обстреляна.

К вечеру в штабе все притихло, как на мельнице, где вода уже не бьет через плотину и где замерли жернова в белой пыли от последних размолотых зерен. В столовой стыл суп, и тщательно свернутые салфетки лежали около пустых приборов; в задних комнатках маленькими группками сходились офицеры, а собравшись, подолгу молчали и только курили беспрерывно. Поджарый подполковник фон-Гутлебен не рассказывал анекдотов из армянской жизни, на кухне прислуга глушила самовары, и самовары, понатужившись, замурлыкали огорченно,—и только, не переставая, гудели полевые телефоны.

А в это время третий драгунский обходил справа полки, а казачья сотня слева отрезала лес и проезжую дорогу к соседней дивизии.

Батарея не двигалась: артиллерийские представители вели за гумнами переговоры с комиссаром, и председатель их в разговоре нервничал и фуражкой крутил в воздухе.

III

— Это торг?—спрашивал Гиляров и отстранялся от фуражки, которая все теснее наступала.—Я не намерен торговаться. Коротко: да или нет?

— Мы же вам говорим,—надрывался артиллерист,—что так нельзя.

— А как же?

— По домам,—вставил другой артиллерист, пожилой, с сектантским ртом, и чуть раздвинул губы, не то в усмешке, не то в улыбке.—По-божьему, как птицы.

— Зачем же вы сразу не отказались?—обернулся к нему Гиляров.—Для чего же вы сюда явились?

— Приказали выступить. Вот что. Дурачье приказало—дурачье пошло,—крикнул председатель.

— Вы ведь знали, для какой цели,—стараясь говорить спокойно, ответил Гиляров.

— Ну и знали!—дернулся председатель.—Что ж из этого? Там узнали, а здесь и знать не хотим.

— Ты постой, постой, — внушительно отстранил его пожилой и шагнул к Гилярову. — Вот что, товарищ. Знайки бывают разные. У вас одна знайка, у нас другая. Вчерась палили — нынче нет охоты. Сегодня пришли, — глянешь утром — нету. Значит, товарищ, не при чем, что пришли. Пришли, да ушли. На то и люди, а не какая-нибудь животная. И у пушек своя знайка, по кому стрелять и по-каковски стрелять.

— Какая же сегодня знайка у ваших пушек?

Пожилой артиллерист на этот раз уже усмехнулся открыто:

— Верная, без ошибки.

— И правду знают?

— Увидите, — злобным криком сорвался председатель.

— Ну ты, ну ты, — остановил его пожилой и пошел за Гиляровым, проводить его, а на повороте, когда попрощался и сказал: «Спасибо, я найду дорогу», вдруг вежливо, не по-солдатски приподнял фуражку и спросил:

— А позволено будет у вас узнать, вы не из священнической семьи будете? А то есть такое хорошее церковное заявление.

— Какое, говорите. Я пойму.

— Да вот такое... — протянул пожилой и как будто застыдился, опустил ресницы, но внятно и важно произнес: — Никем же не мучимы, сам ся мучаху.

— Что? Что?

Пожилой вскинул глаза и, уже не отводя, в упор посмотрел на комиссара и серьезно и проникновенно повторил:

— Сам ся... Сам ся... Вот понапрасну.

Покатая спина пожилого давно уже пропала за гумнами, а Гиляров все еще стоял на тропинке и не чувствовал, как дождь накрапывает, как ветер подхлестывает и лезет, острый, за воротник.

В сумерках одна за другой потянулись пушки; гремели передки, подскакивали прикрытые брезентом дула, и никто не знал, куда они тянутся: дорога была одна и та же и к полкам и к штабу корпуса, только за пригорком раздваивалась.

Полевые телефоны работали: «К мызе Бельше один эскадрон... За Шонфильдом к северу»... Кружился стальной карандаш прямого провода и требовал к себе комиссара экстренно, срочно.

но комиссара не было; искали его долго, пока не нашли у капитана Синтникова, а когда пришли за ним, капитан, приподнявшись, жаркой рукой цеплялся за Гилярова и говорил:

— Милый вы мой... Не надо пить до дна. Не надо, голубчик. Ни к чему. Последний глоток будет такой же черный и хмельной, как и первый. Бежать надо. К чорту чашу. Да минует она... Не надо, голубчик, не надо.

— Сам ся мучаху?—с горечью спросил Гиляров и, погладив горячие пальцы капитана, заторопился к двери, точно убежать хотел (от кого, от кого?), или сам спешил (к кому, к кому?), волнуясь встречей новой и неожиданной.

IV

К десяти часам вечера позвонили из Мухтанского полка: комитет вызывал комиссара для личных переговоров, соглашался сдаться, но предварительно желал повидаться с комиссаром.

Подали крытую санитарку.

На дышле покачивался фонарь, подпоручик Разумный стягивал поясок и умолял взять его снова с собой. На крыльце стоял генерал и смотрел на отъезжающих. На его ярко вычищенные сапоги падал отсвет из окна, и та щека генерала, которая была к свету, рдела и наливалась густым лихорадочным румянцем.

Подпоручик дорогой молчал, только все старался разглядеть в темноте лицо комиссара, но не мог. А в душной избе, где, откашливаясь, жались друг к другу солдаты, и при крохотном огарке под низким потолком маленькие казались большими, а большие гигантами, где старуха-латышка в печи шарила кочергой и что-то шамкала босоногой девчонке, подпоручик думал о том, что все страшно: страшно с этими и страшно без них, страшно жить и страшно умирать, и что нет ни исхода, ни выхода, что не часы проходят, а годы, и что всегда, всегда будут сумерки в мокром поле и бескрайные поля в ночных шорохах.

Когда кончилось тягостное совещание, и, не прощаясь, солдаты разбрелись, когда на обратном пути, в лесу, вдруг со всех сторон на санитарку посыпались камни, забарабанив по крыше,

по бокам, и понесли лошади, и вдогонку раздался один выстрел, другой, третий, и мгновенная вспышка выхватила из темени несколько корявых стволов, кучу валежника и лоснящийся лошадиный круп, и запрыгала будка на колесах, точно лодка у водоворота, — подпоручик, сползая со скамьи на дно санитарки, закричал пронзительно:

— За что? За что?

Гиляров как сидел в углу, так и не пошевельнулся, но когда во все стороны завертелась будка, он встал, расставил ноги и затылком уперся в навес, как упирается человек, застигнутый в горах оползнем: упирается, стискивает зубы и молчит, потому что тогда равнодушны одинаково и бог наверху, и люди на земле.

Замелькали огни усадьбы. Гиляров по полу шарил руками.

— Подпоручик Разумный... Мы приехали... Подпоручик Разумный...

— Я не разумный, не разумный, не разумный, — твердил подпоручик. — Я не знаю, кто я... — и копошился под скамьей.

V

До зари Гиляров сидел в аппаратной.

«Ду-ду-ду» гудели маленькие ящики, и телефонист в сердцах швырялся трубками. Над озером низко плыло большое черное облако, похожее на лебедя, и ширились его крылья: вот-вот ударят по воде.

В семь с четвертью сообщили, что Мухтанский начал сдавать оружие, а к десяти часам прошумел неугомонный дудец, что зачинщики Старорусского полка уже в районе Третьего драгунского.

Гиляров встал и попросил подать ему лошадь; согнувшись, теряя стремена, он медленно отъехал от крыльца.

В окне, чуть отдернув гардину, в одном белье, стоял генерал и тяжело дышал; золотой крестик выбился наружу и зашуршал по шелковой фуфайке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Покорный приказаниям центра, салон-вагон № 23 перерезывал всю страну вдоль и поперек.

С севера несся к западу, с востока уносился на юг. И на востоке барышня из Клина барабанила на машинке точно так же, как и на западе, и на севере с той же аккуратностью, как и на юге, ставила номера исходящих бумаг. Со всех четырех сторон России летели по почте, по проволоке донесения Гилярова, то короткие, как условный пароль, то пространные; но и лаконические без лишнего слова и многословные с длиннейшими мотивировками—они говорили об одном.

И верстах в ста от Петрограда, и на расстоянии пятисот, тысячи верст они твердили одно и то же, и как похожи друг на друга дробинки одного заряда, так похоже было двадцатое донесение на сотое и сотое на трехсотое—об умолкнувших фабриках, о боевых генералах, уличенных в неверности республиканским идеям, о полках, отказывающихся воевать, о рабочих, прекративших работу на пушечных заводах, о беженцах, умирающих с голоду в богатом краю, о дезертирах, угоняющих паровозы от состава с амуницией, об офицерах, обвиненных в измене социализму, о резолюциях, принятых в окопах, о начальниках городской милиции, провозглашающих самостоятельные республики, о митингах над брустверами, о городских думах, выносящих свое неодобрение иностранной политике.

II

Летели, сыпались донесения, без устали танцовали клавиши Ремингтона, росла и увеличивалась груда копий, а рядом с ней другая — из указаний, распоряжений и циркуляров центра. И между копиями своих бумаг и оригиналами петроградских предписаний все ниже и ниже гнулся Гиляров, словно сдавленный двумя яростными, мчащимися в противоположные стороны, волнами.

И все чаще и чаще зеркальное трюмо отражало по ночам, рядом с Ремингтоном, мирно спящим в своей жестяной коробке,

маленькую настольную лампочку с картонным козырьком, лист бумаги и над листом осунувшееся лицо комиссара Временного Правительства. И лицо это то откидывалось назад к спинке стула, тяжело, напряженно, как будто кто-то, угрожая снизу, подносил к подбородку увесистый кулак, то вновь наклонялось к столу.

И не раз видело трюмо, как беспорядочно топтался карандаш на одном месте, как летел в корзинку скомканный в бессильной ярости лист бумаги с незаконченной фразой, как тоскливо, уныло сплетались пальцы, обхватывая то пылающий, то холодеющий лоб, и как беспомощно, с какой-то детской пытливостью, где слиты страх и надежда, останавливались глаза на темных провалах окон, за которыми расстилалась ночь, Россия и вечные судьбы той и другой с нерукотворными предначертаниями.

А по утрам барышня из Клина, машинистка с позитивным мировоззрением, нередко находила на столе листок, исчерченный зигзагами, завитушками, крестиками, квадратами и покрытый странными отдельными словами, из которых некоторые повторялись неоднократно, иногда одно за другим следом.

Приподняв иронически брови-ниточки, машинистка читала:

«Русь... Россия... Запад... Дон-Кихот... Центральный Комитет... Так... Так... Так... Во имя... Во имя... Дон-Кихот... Выход... Исход... Выход... Конец... Конец... Казнь... Революция... Кнут... Революция... Резолюция... De profundis... Казнь... Конец... Сам... Сам... Будет... Будет... Русь... Рассея... Russie... Русь...»

Точно так же она пренебрежительно ухмыльнулась, как взрослый при детской глупой болтовне, когда случайно подслушала часть разговора между Гиляровым и неизвестным ей по имени генералом.

Было это в первых числах октября, в Карсе, откуда потом Гиляров и генерал уехали вместе на автомобиле в Эрзерум. Сперва они долго беседовали, запершись в салоне, и до машинистки, которую попросили уйти, только глухо долетал голос генерала, и только он один все время говорил, а потом они из салона направились в коридор, и машинистка юркнула в ближайшее купе.

Резко прозвучал басок генерала:

— Это мое глубочайшее убеждение. Иначе нельзя. Иначе крышка. Кто боится — пусть уходит.

И тихо ответил Гиляров:

— Я не боюсь, но я уйду. Вернусь и пошлю телеграмму. Но не изменится...

— Увидим, — перебил генерал. — Еще не поздно.

И еще тише сказал Гиляров, почти шопотом:

— Не знаю... Возможно. Я... ничего не знаю, я... все перестал понимать. Я... Я... с ума схожу. Вот... сейчас. — И, не докончив, комиссар ушел в вагон; уходя, покачивался, хотя вагон крепко и неподвижно стоял на железном пути.

Генерал, звеня шпорами, направился к выходу.

Лавируя между рельсами, подкатил автомобиль, шоффер распахнул дверцы, проревела сирена, вскоре еще раз. Генерал сидел в автомобиле и ждал комиссара; из-под низко надвинутой папахи зорко глядели холодные, бесцветные и круглые, как у хищной птицы, глаза.

Долго, долго не являлся комиссар, а когда на ступеньках вагона показались его осутуленные плечи, с наброшенной поверх длинной кавалерийской шинелью без петлиц и погон, генерал еще более округлил глаза — и сразу они стали непроницаемыми.

Путаясь в шинели, Гиляров занес ногу на подножку; посторонившись, генерал сел глубже и вдруг улыбнулся: выгнув ладонь, Гиляров подносил руку к голове, отдавая честь, скрючив пальцы лодочкой.

III

А дней через восемь, когда Гиляров вернулся из поездки по фронту, уже один, вялый, как осенний лист под забором, с просинью вокруг век, снова всю ночь отсвечивалась в трюмо электрическая лампочка с зеленым козырьком.

И снова поутру машинистка нашла на столе бланк, испещренный ромбами, георгиевскими крестами, цифрами, контурами каких-то лиц, голов и словами, будто бы бессмысленными на первый, посторонний взгляд, но так значительно-жуткими —

словами, которые попадают на бумагу в те страшные минуты, когда мысли бьются, словно ночные бабочки вокруг огня, и когда бедное человеческое сердце не в силах ни принять их, ни уничтожить.

И она же, внешне-спокойно, но внутри сгорая от любопытства и изумления, немного попозже выстукивала на машинке заявление Гилярова о невозможности продолжать свою работу и просьбу прислать заместителя, в виду того, что «веления моей совести не совпадают со взглядами и указаниями правомочных органов революционной власти, а посему...»

В этот раз машинистка уже писала не под диктовку, как обычно, а с черновика, и черновик был перемаран весь, и одни и те же фразы то зачеркивались, то восстановлялись, и буквы лежали криво, иные выпадали, оказывались внизу, точно быстро, быстро катились под гору.

Адрес Гиляров написал собственноручно, но долго сидел над конвертом; перед ним стыл чай, и Панасюк стоял за креслом; солнце заходило, вперегонку с поездом бежали вечерние тени: кто кого обгонит; машинистка шелестела бумагой. А в конце вагона, на нижней ступеньке площадки сидел старший проводник Сестрюков и тихонько, чтобы комиссар не услыхал, играл на губной гармонии и тянул с короткими придыханиями одну длинную-предлинную мелодию, тоскливую, без изменений в начале, в конце, в середине.

И все-таки до Гилярова долетело.

— Кто это играет? — спросил он Панасюка.

Тот объяснил. Гиляров встал и с конвертом в руках направился к выходу. Машинистка, подождав немного, метнулась за ним, осторожно подошла к выходной двери, за которой после короткого перерыва снова жалобно заныла губная гармошка, воровски потянула дверь к себе и глянула в широкую дверь: Сестрюков играл, а рядом с ним, так же свесив ноги на ступеньки, сидел комиссар и слушал. Как Сестрюков, покачивал в такт головой и размеренно рвал на клочки конверт, и оба — тот, кто играл, и тот, кто прислушивался — одним и тем же взглядом следили, как ползут облака по верхушкам гор, как уносятся вдаль дрохвы, и как рдеют крутые склоны, покрываясь багряными отсветами — последними, осенними, грустными.

IV

Перед ужином Гиляров подал машинистке новый черновик, и было там сказано коротко: «Прошу назначить заместителя, отказываюсь в виду тяжелой болезни».

Машинистка не удержалась и ахнула. Гиляров услышал и подошел к ней.

— Это правда, — сказал он, — я очень болен. — И посмотрев на нее невидящими глазами, поверх ее лица, помолчав, добавил: — Я давно уже болен, но я не знал.

Телеграмма Гилярова в пути разошлась с пространной телеграммой — приказом из Петрограда о немедленном отправлении на Юго-Западный фронт, в виду критического положения Н-ской армии, и вместо того, чтобы ждать в Тифлисе приезда нового комиссара, как это было решено Гиляровым, вагон двинулся на Ростов.

Скомкав телеграмму, Гиляров пошел к коменданту переговорить о прицепе вагона.

Шел, спотыкался о рельсы, путался, в темноте натыкался на чужие вагоны.

Дождило, смутно маячили скупые, припавшие вплотную к земле одинокие огни сигнальных знаков, мычали быки, запертые в теплушках, по ногам била мокрая шинель, сумрачно выползали из тьмы пакгаузы, будки, холодом обдавал кривой дождь — и такой же холод и сумрак были в душе Гилярова, и такая же темнота обволакивала сбившиеся, спутанные мысли о том, что и впереди один и тот же путь: склизкий, бесприютный и бесконечный.

V

В дороге между Минеральными Водами и Дербентом вагон завяз на маленькой станции: началось восстание таинственных, неведомых Гилярову абреков. Полыхало оно в глубине края, но один из отрядов, случайно подошедший к железнодорожной линии, на всякий случай взорвал ближайший мостик.

Сотни пассажиров забили крохотную станцию доверху; потом, пока успели предупредить, подошел еще один тифлисский поезд, за ним следующий.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Между двумя холмами,—одним невысоким, узловатым, похожим на перевернутый дуб, и другим — крутобедрым, голым — шумно, крикливо, сумбурно, то на минуту затихая, то снова с утроенной силой разгораясь, зажила внезапно потревоженная станция.

Ушла, исчезла бледно-желтая тишь опадающих листьев, деревянная платформа загудела под ударами бесчисленных ног, как некогда в лесу гудели под ветром молодые сосны, из которых она была сделана. Замелькали мундиры, мохнатые бурки, черкески, красные башлыки, пальто, шляпы, котелки и бараньи остроконечные шапки. Зазвенели шпоры, выгнутые шашки, зазвучали грубые, нежные, хриплые, сердитые, взволнованные, веселые, пришамкивающие, старческие, детские и девичьи голоса, и друг дружке в затылок, точно при перекличке, стали вагоны, в последний раз лязгнув буферами и проскрипев колесами.

К концу с надписью «Телеграф» ринулись десятки людей, другие десятки к начальнику станции, но вскоре те и другие вернулись: стало известно, что раньше четырех—пяти дней нечего и думать о дальнейшей поездке.

Минут через десять в буфете уже все было съедено и выпито: толпа вплотную облепила столы и, как саранча, поднявшись, оставила место пусто и голо; по тропинкам к соседним деревням потянулись чающие хлеба.

Вечером за водокачкой пели солдаты; сперва о богачах, жадно пьющих кровь, а потом задушевно, грустно о тумане, павшем на море, и чей-то тонкий - тонкий голос волнующе спрашивал:

Скажи, о чем задумал,
Скажи, наш атаман!..

Кое-где в вагонах играли в карты, по платформе разгуливали парочки, но везде — и за картами, и между песнями, и после старых слов о страсти, о прекрасных женских ручках и о том, как отрадно знать, что ты не один, даже в чужих горах, — говорили о дороговизне, о буржуазии, о том, кому из руководителей

можно верить, кому нельзя, о социализме, о необходимости переустройства всего мира, о рабстве, о том, что партийные вожди подкуплены немцами, о смертной казни, о капиталистах, губящих революцию, о разгромленных имениях, о рабочих, предающих родину, о голодающих мужиках, о жалованьи.

И тот, кто одних ругал, а других хвалил, и тот, кто обвинял и первых и вторых, и тот, кто никого не одобрял — все, и робкие, и храбрые, и обойденные, и неудачники, невысказанными словами мечтали о тишине и покое, и каждый думал о себе, что он больше всех устал, что больше всех пострадал за Россию, за человечество и мир, и скорее, чем кто бы то ни было, вправе отдохнуть, успокоиться. И каждый не верил другому, и каждый каждого ловил на себялюбии и упрекал в отсутствии любви к стране, но всем было одинаково жутко, все одинаково тревожно переживали свои часы. И, как бывает часто, меньше всего думали о том, что тут за спиной — о восставших абреках, — и не это страшило, и не взорванный мост пугал, а то, что дома попрежнему не будет ни тишины, ни отдыха.

Еще кто-то смеялся, еще кто-то шутил, кто-то любовался поздними осенними переливами по холмам и чувствовал всю нежную тихую печаль дальних очертаний гор в золотисто-пепельной дымке, еще кто-то говорил о боге, о любви неумирающей, еще были губы, отвергавшие хулу и проклятия — но, словно самая крошечная капля, они, одиночки, не ведающие, как пленительны они в своем одиночестве, терялись и пропадали в одной огромной человеческой волне горя, злобы, страдания, корысти, исступления, ненависти, зависти, жадности, скупости и жути.

II

На третий день соседняя станция по ту сторону моста — ближе к Дербенту, к России — перестала отвечать.

А к вечеру 15-го октября из Минеральных Вод сообщили, что в Петрограде восстание, что вся Москва в огне, что убиты члены правительства, и несколько немецких конных корпусов, клином врезавшись в Северный фронт, захватив Валки, Псков и Юрьев, спешно двигаются на Петроград.

Сотни фигур заметались по вагонам, по перрону, по насыпи, по рельсам. Стемнело — и они разбрелись по своим местам и притихли, но света не зажигали. И уже слышались предостерегающие голоса: «Тише, тише!» — и уже бормотали: «Дожили... Дожили...» — и беспокойно советовали офицерам снять на время погоны.

В окнах первого класса женские руки торопливо задергивали занавески. Все чаще и чаще боязливо раздавалось: «Кто тут?» — и чиркала спичка, выхватывая из темени то клок волос, то часть лба, то беглый взмах испуганных ресниц; осторожно шаркали ноги, и когда кто-нибудь поднимался, чтобы выйти из вагона, ему бросали тревожно: «Куда вы? Куда вы?» — и вставший покорно, не раздумывая, садился вновь, и вскоре уже сам окликал других вздрагивающим голосом. И все думали только о том, почему тихо за водокачкой, где обычно собирались солдаты, почему песен не слыхать об атамане, что-то задумавшем, о штыках, привинченных к ружьям, и почему не горит костер, на котором они всегда варили себе похлебку. Сидящие у окон старались в окна не глядеть, но, не удержавшись, отгибали край шторы и, откинувшись назад, издали пытались разглядеть. Но и на платформе было глухо, пустынно и темно, только светилось окно телеграфа. Там два генерала, оба седые, оба высокие, сидели по бокам стола и молча смотрели, как разматывается под колесом бумажный моток, как ползут, словно трудолюбивая муравьиная рать, черные точки-тире. Нагибались, прочитывали, посматривали друг на друга, — один бровями шевелил, другой покусывал кончики усов, — и снова, не проронив ни слова, выпрямлялись.

III

Гиляров лежал у себя в купе и дремал.

Когда машинистка постучалась к нему, он сперва не отозвался, поморщился и промолчал, но машинистка стучала настойчиво, и Гилярову пришлось встать, отбросить задвижку.

И снова барышня из Клина изумилась, и снова поразил ее Гиляров, но уже так, что она не скоро пришла в себя — и как подшибленная убралась из купе, где Гиляров в ответ на то,

что она ему передала, в ответ на невероятнейшее сообщение, после которого, убежденно думала барышня из Клина, Гиляров должен был бы содрогнуться, закричать или принять, как это бывает, как об этом пишут в книгах о великой французской революции, какое-то немедленное, исключительное решение, или, наконец, застонать — сказал лишь одно, и сказал спокойно, даже равнодушно: «вот как», и опять лег, попросив только дверь прикрыть.

Покинув купе, машинистка тут же в коридоре расплакалась. Была она хроменькой, припадала на левую ногу; в Петрограде на собраниях она постоянно заявляла, что «нам нужны две революции: политическая и социальная». Говоря, не могла усидеть на месте, расхаживала, и тогда при слове «политическая» левое плечо медленно опускалось вниз, а при слове «социальная» оно стремительно и победоносно летело вверх.

А сейчас оба плеча ходуном заходили.

И долго и горько плакала барышня из Клина, и сама точно не знала, почему: потому ли, что обманули ее Арну и Блос, потому ли, что в коридоре было так холодно и так одиноко.

Ночью прогремел выстрел, откликнулся другой, и машинистка, присев на койке, подумала с ужасом: «началось», как с тем же ужасом вскочили и в других вагонах, как одна и та же дрожь охватила всех — полусонных и сонных, дремлющих и бодрствующих, — и впотьмах беспомощно забилась маленькая человеческая мысль о том, что все рушится, что смерть идет, и почему, боже, я, умный, хороший, должен погибнуть.

Не спал и Гиляров.

При первом выстреле он подошел к окну, потянул вниз раму, — и повеяло ночной свежестью, и были в ней умиротворяющая чистота и сладкая благость, как от прикосновения родимых рук в час безнадежной болезни.

И не потому ли и выстрелы и заметавшиеся по платформе одиночные силуэты показались столь незначительными, столь несущественными, как круги от внезапно брошенного камня на безупречно-ясной поверхности мудрой водной глади, знающей, что никакими камнями не замутить сокровенной глубины?

IV

Уже давно отзвучали случайные выстрелы, и уже попрятались по своим укромным уголкам на миг ошарашенные — на миг, чтобы снова при любом шорохе сорваться, а Гиляров все стоял у окна. И так же ровно, как ровно за холмами возникал рассвет, неторопливый, как молитва, и, как молитва, успокаивающий, думал о том, что не смерть страшна, а путь пройденный, путь в самом начале неверный, путь уже неисправимый, где не те вехи ставились, не те зарубки заносились, где уже поздно, поздно равнять выбоины, метить новые заметы, и что смерть будет незаслуженным даром нерадивому, и что надо встретить и принять ее просто и тихо.

Поутру новая телеграмма из Минеральных Вод сообщила о вздорности вчерашнего известия.

Опять загудела платформа, и снова по тропинкам змейками зашевелились ходоки за молоком, за хлебом, голодные, но повеселевшие. И машинистка на радостях напудрилась — очень она пожелтела за ночь — и за чаем усиленно-звонким голосом спросила Гилярова, как ему спалось, и добавила при этом, что она спала восхитительно, точь-в-точь как малюсенькая девочка, как будто под крылышком у няни, а не в дни революции, когда...

Еще немного — и вскинулось бы левое плечо, утверждая строго и неуклонно, что нам нужны две революции, но комиссар рассеянно поглядывал в окно и жевал губами, точно старик после ночных ревматических припадков.

И не знала машинистка, что нет уже для него ни настоящего, ни будущего, а только одно недавнее прошлое, в котором он раз навсегда и безоговорочно прочел для себя: «и ты, и ты виновен», и ждет после приговора нужного и должного наказания, ждет безропотно и покорно.

День разворачивался солнечный, совсем не по-осеннему молодой. В салоне в чехарду играли зайчики, в зеркальном трюмо, как в пруду от ракит, опрокинулись узорные тени привокзальных каштанов, и поблизости женский голос негромко, но затаенно ликуя пел:

Прощай, хозяин дорогой,
И я пойду вслед за водой,
Да-ле-ко... Да-ле-ко...

Не докончив завтрака, Гиляров вышел на площадку — с той стороны, где песня казалась ближе. Комиссар любил пение и когда-то — это было несколько лет тому назад — он в Италии, в Сан-Ремо, услышав уличную певицу, потом весь день ходил за ней по пятам, от одного отеля к другому, и только сумерки помешали, а то бы шел за нею без конца, безотчетно, как, купаясь в море, безотчетно тянешься за белыми гребнями. А вот в эту минуту, быть может, дальше своего вагона и не двинулся бы, как бы ни манил к себе завлекающий голос, но ближе к пению все же хотелось быть. Ближе—и подальше, хотя бы на миг, от окончательной и бесповоротной мысли о тусклом и беспросветном завершении своего круга: ведь и самоубийцы невольно рады ничтожной временной помехе, когда то мышь заскребется у ног и отвлечет внимание, то сосед за стеной затянет песню о счастливом коробейнике.

Но, открыв дверь к ступенькам, он на нижней увидел перед собой женщину в белом, и огромная шляпа с широкими полями, с горстью васильков сбоку очутилась у него как раз под подбородком, заслонив лицо пришедшей.

— Чей это вагон? — спрашивала женщина. — Ради бога, чей это вагон? — и поднялись васильки, и под ними показались белокурые волосы, глаза взволнованные, узкие, но большие до странности, и в вырезе платья худенькая, по-девичьи поставленная шея. Но и васильки, и волосы, и глаза одинаково были поблекшие, точно долго-долго над ними носилась пыль. Только назойливо выделялись слишком ярко-красные губы.

— Мой, — ответил Гиляров.

Губы дрогнули и сразу стали такими детскими, такими неуверенными, даже помада тут же улетучилась.

— Ваш?—и замерли растерянно бедные, дохленькие васильки.

V

Когда Гиляров взялся за перила, васильки опять встрепенулись, точно набрались храбрости.

— Ради бога... на одну минуту... Можно, можно войти?

Гиляров посторонился.

— Пожалуйста. Дверь справа.

— Я знаю. Я знаю, — нетерпеливо отозвалась пришедшая и побежала к коридору, но вдруг комиссар услышал ее громкий крик. Обернувшись, Гиляров увидел, что она, в дверях столкнувшись со старшим проводником Сеструковым, ловит его за плечи и тянет к себе:

— Сеструков, милый... Господи, и ты тут?.. Не узнаешь, — не узнаешь меня? Милый, не узнаешь?

Сеструков, оторопев, уронил ведерко с углем. Женщина плакала, качались запыленные мертвые васильки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Без шляпы, без жакета, в беленькой, с простенькими прошивками блузке, а рукава, как у гимназистки, кончались манжетками, она на ученицу, так класса шестого или седьмого, и была похожа. Полу-плача, полу-смеясь, она перебегала от окна к окну и в шифоньерках выдвигала ящички, и непонятным казалось, почему косы лежат коронкой поверху, а не извиваются по спине. Жадно она никла к ящичкам, словно искала в них сласти, как дома, после надоевшего дня в гимназии, после «а — b — c» и династии Меровингов, в старом оливковом буфете разыскиваешь, чем бы полакомиться, и боишься, как бы бабушка или старая тетка не застала на месте преступления.

И как порозовели кончики ушей, когда в одном из ящичков она нашла круглый беззубый гребень.

— Мой, мой гребешок. Уцелел. Посмотрите. — И она показывала Гилярову и через плечо кричала Сеструкову: — Погляди... Сеструков... Я его узнаю. Мне казалось, что я его в Харькове на вокзале потеряла. Помнишь, Сеструков, — это когда мы в Харькове бежали с тобой в буфет за пирожными, а ты меня торопил: «Барышня, опоздаем». Помнишь, ты тогда меня на руки схватил. Я барахталась... Кричала, что я уже большая. А ты мчался, сломя голову, и налетел на какого-то офицера. Помнишь? Помнишь?

Сеструков мотал головой и все еще не мог притти в себя, все еще не верил, что перед ним генерал-губернаторская внучка.

барышня Тоничка, за которой ежегодно в Питер отправлялся вагон, а старый генерал-губернатор в шелковом расписном халате каждый раз накануне поездки призывал к себе проводников, подносил им по стакану добротного сиаб-чашмы и по золотому в придачу и просил внучку беречь, чтобы, упаси боже, под колеса не угодила.

— А Прохор где? Ты, может быть, знаешь? Где он теперь? А ты помнишь его?

— Как же, — откашливаясь, говорил Сестрюков. — Как изволили представиться его высоко...

Сестрюков осторожно поглядел сбоку на комиссара, который стоял сгорбившись неподалеку от трюмо, и, малость запнувшись, продолжал:

— Как скончались ваш дедушка покойный, то и Прохор вскоре помер.

— Умер? — она бросила гребенку и тут же над выдвинутым ящиком заплакала и сквозь слезы говорила Гилярову: — Простите... Но я не могу. Я его так любила. Он мне и сказки рассказывал, и спать укладывал. И он же мне говорил, что быть мне несчастной, если мало молиться буду. А я много молилась. И все же... Он как няня был. А этот вагон. Вы не поверите, но я каждое утро тихонько целовала его. Вот здесь, видите, вот слева от дивана. Раз навсегда отвела место. Точно на лице, где есть любимое место. Все лицо любишь, а все же есть уголок милее всего. Когда я сегодня увидела его — я сразу узнала. У меня сердце остановилось. Мой голубенький вагон. Я и ступеньки узнала, и окна, и крышу. Побоялась поверить, даже отошла. Но тут увидела номер и бросилась к нему. Другие так на вокзале встречаются с людьми близкими. Вот едешь — и вдруг такая неожиданная, такая чудесная встреча. А я встретилась с ним... Я совсем одна, никого у меня нет. Ну, да ладно. А тут вот, левее... Тут я однажды написала стихи. Я была очень глупенькой и стихи сочиняла. Теперь я не сочиняю, но поумнела ли — не знаю. Вот тут. У меня был маленький перламутровый ножичек, и я вырезала. Вот тут я целое утро...

Она отвела в сторону гардину крайнего окна, нагнулась и тотчас же откинулась назад:

— Все сохранилось. Господи! Как это чудесно и как это больно! Миленький, миленький,— тянула она Гилярова за рукав, — посмотрите, все сохранилось. Прочтите мне, прочтите. Я сама не в силах.

II

Зажмурившись, она слушала, как Гиляров неуверенно, еле-еле разбирая каракули, читает.

И так, стоя с закрытыми глазами, вслед за ним повторяла про себя:

...Я люблю тебя, как бога,
Если б не было бы бога—
Умерли бы все души...

— Если ты меня покинешь, я умру... — читал Гиляров.

— Я умру... Голубенький... — медлительно и серьезно, точно жалуясь на большую, ни за что ни про что нанесенную обиду, твердила и она.

Гиляров обернулся к ней: она все еще стояла с опущенными ресницами. Солнечные лучи крест-накрест обняли ее, белую, тонкую и порывистую, и как бы приподняли с полу, вот-вот собираясь унести. Но те же лучи явственно показали, что юбка потерта, что туфли беленькие в заплатах, а белокурые завитки утомленно, как у больной, пробиваются у висков и точно липнут ко лбу.

«Зачем она губы мажет?» — досадливо подумал Гиляров.

— Все души, — еще раз повторила Тоня и вскинула глаза на Гилярова. — Если б не было бы бога... Это правда?

Гиляров молчал.

Тоня, покраснев, потянулась к жакету, и от краски еще моложе, еще более девичьим стало ее лицо, а приколола шляпу — сразу все юное, трепетное и чистое сгинуло.

И вновь стояла перед Гиляровым неверная женщина, хотя и с зовущими губами, но поблекшая и уставшая — облик, какой встречаешь на рассвете в ночном ресторане с дутыми мавританскими колоннами, у кадушки с высохшим филодендроном, когда линолеум липок от пролитого ликера, и окурки противно пристают к подошве.

Уходя, она только сказала «спасибо», а уж с перрона вдруг крикнула в окно:

— Господин комиссар!

Гиляров глянул в окно.

— Я хочу вам сказать.

— Слушаю, — проговорил Гиляров.

— Я хочу попросить вас... Ничего... — махнула она рукой и отошла. Белое платье исчезло за мохнатой буркой, потом вынырнуло за красным башлыком, снова показалось вдали — и потонуло в крикливой, галдящей, движущейся взад и вперед толпе. Долго не отходил Гиляров от окна, все ждал, не мелькнут ли васильки на желтой соломенной шляпе с нависшими полями, под которыми словно нарочно удлиненные глаза так часто и так удивительно меняются, то притягивая к себе, то отталкивая, как вот сразу оттолкнули накрашенные губы. И опять подумалось: «Зачем это она... напрасно», и внезапно потянуло к нацарапанным строчкам в углу — снова на них взглянуть, снова прочесть о том, как без бога умирают все души, прочесть и — что? Посмеяться над собой, над своей неожиданной чувствительностью, глупой, вздорной, или заново при этом вспомнить и ясно представить себе, как вот несколько минут тому назад светлела в утренних лучах девушка вся в белом, в заплатанных туфельках, и грустно говорила о том, что она умрет, если ее покинут?

И хотя морщился Гиляров, но все же прильнул к кривым строчкам.

III

А в обед Сестрюков иноходцем рыскал по платформе, суетливо шмыгал по вагонам и все искал «барышню Тоничку». Ту самую, дед которой, хоть и в халате, а генерал-губернатор, своими руками угощал вином и просил, как просят родного, присматривать за внучкой. Всюду шарил, и наконец нашел ее и доложил, запыхавшись, что комиссар покорнейше просит пожаловать к обеду. А уже от себя шопотком добавил, что комиссар человек хороший, редкий, не похожий на всех прочих из нынешних новых вылезалок, совестливый, что не след отказываться барышне Тоничке пообедать в «нашем

вагоне», и что для этого он, Сестрюков, уже раздобыл в кладовке тот самый приборчик, что некогда служил Тоничке.

— Синенькие тарелки с золотыми каемками? — спрашивала Тоня, смеялась, а ладонью все же заслонилась от Сестрюкова, будто солнце жгло.

Точно таким же шопотком, после того как Тоня пообещала ему притти к вечернему чаю и ушла к себе, он докладывал Гилярову о том, что барышня никакого места для себя в третьеклассном вагоне не имеет, что приходится им бог знает где сидеть, на торчке, что воздух там густой, людей напихано, как на свадьбе, все больше мужичков и солдат, не говоря уже о татарах с длиннющими ножами, и по всему видать, что барышня по ночам не спит по причине малого места, а едут они в Харьков, точка в точку по дороге с нами. Рассказывая, умильно и заискивающе заглядывал Гилярову в рот, как собачонка, которая прибежала к хозяину, чтоб потащить его туда, где другая собачонка лежит с перебитой лапой, — и говорил всеми своими движениями, умолял растроганными морщинками вокруг вспотевшего лба, упрашивал растопыренными реденькими усами: «Ну, вымолви заветное слово, ну, прикажи же»...

К чаю Тоня не пришла, и напрасно Сестрюков дважды разогревал самовар и даром дежурил на площадке. Шпоры звенели, и брякали кавказские шашки, но не окликал милый голос: «Сестрюков, это ты?» — а Сестрюков ждал, все не верилось ему, что Тоничка не придет: ведь слово дала. Правда, за обедом она почти звука не проронила, как будто не по себе ей было, но, уходя, она все-таки еще раз сказала, что не обманет, придет, а вот уже и народ на перроне редеет, и давно второй самовар заглох, еще немного — и огни зажгут.

Не выдержал Сестрюков и сбежал — в поиски.

В вагоне на Тонином месте два татарина, разложив платочек, ели овечий сыр, на Тонином чемодане дымились чужие кружки с кипятком.

Лишь к поздним сумеркам Сестрюков разыскал Тоню за плетнем привокзального садика, там, где над сваленными шпалами нависал дряхлый дуб.

Обрадовался Сестрюков, даже оторопел от радости, но не пошла с ним барышня Тоничка, на все уговоры отзывалась

молчанием. На коленях у нее багряной горкой лежали опавшие листья, и она их перебирала руками, только всего, — а обмолвился, между прочим, Сестрюков «наш вагон», она вскочила и крикнула ему: «Не смей так говорить, это не мой вагон, не мой, ничего у меня нет, я все растеряла». Но тут же попросила ласково, совсем как в те времена, когда по вокзальным буфетам носились за кремовыми трубочками: «Иди, милый, оставь меня», а замешкался Сестрюков — она топнула ногой:

— Уйдешь ты, наконец?

Но тотчас же побежала за ним, воротила, говоря:

— Не сердись на меня, — и усадила рядом с собой. — Сиди, сиди, только не зови меня туда. Я дурная, понимаешь, я очень дурная. Ты ничего не понимаешь. Старый ты мой проводничок. Я не смею... в тот вагон. Мне стыдно перед его зеркалом стоять, видеть себя в нем. Там ведь я осталась прежняя, и зеркало меня другой запомнило. По утрам я подходила к нему, глядела и у него спрашивала, хорошо ли на мне передник застегнут. Я была чистенькой, скажи мне, проводничок, — я чистенькой была? А теперь я вся, вся замаралась. И не зови меня, пожалуйста. Ты ничего не понимаешь, ничего не понимаешь, потому что ты уже сморчок, а я уже не Тоничка. На, развеселись, поиграй!

И сгребла она листья и кинула ему пригоршню, а сама стала насвистывать, покачиваясь, но свист был нарочитый, вскоре прекратился.

По-старчески шелестел дуб, точно перелистывая пожелтевшие страницы стариковских записей, брюзжал над тем, что молодое старится, а старое помереть должно.

IV

Гиляров, проходя мимо купе проводников, услышал, как, тяжело кряхтя, рассказывает Сестрюков младшему своему товарищу:

— И подумать только, что с барышней нашей сделалось. Ищу, ищу, — нету их, а самовар канючит. Ищу, ищу, а нигде не видать. Дикий-то человек, в соседях у барышни, и говорит мне: «Уехаля». Куда, говорю, дурень без рельсов поедешь.

«Уехали», говорит и гогочет. Без сил остался, пока заприметил. Сидят себе у возле садика и молчок, молчок. Я упрашиваю Христом богом: пойдем, миленькая ты наша, самовар растренькается, с огнем оставил, а она мне такое отвечает, что и знать не знаю, как мне быть. Одно чувствую: смяга во рту. Ведь как домой, говорю, зову, а она мне про зёркало такое невозможное, что хоть плачь.

Гиляров остановился — и не морщился, как днем, читая наивный стишок, много лет тому назад выведенный детской рукой, — рукой, которая теперь уже иная, но пальцы чьи живут, как самостоятельные, совсем отдельные живые существа, и, промелькнув раз — другой, не исчезли из памяти, а запечатлелись в ней, как оттиск в мягком воске, запечатлелись вопреки желанию того, кто их увидел, даже словно назло, наперекор.

А может быть, во благо, может быть, для последнего необходимого указания?

Вот, вот так они шляпу прикалывали и чуть-чуть трепетали, будто оскорбленные, когда он не отвечал на ее вопрос: правда ли, что без бога умирают души людские. А вот так они скользили по платью, когда лучи перекрестили ее, а за обедом они едва-едва шевелились, точно их вспугнули, и они притаились, точно украдкой взирая на свет божий.

И даже поближе стал Гиляров, чтобы явственнее разобрать сетующее бормотание Сестрюкова, но тот приумолк и засопел только: возможно, что сапоги снимал натужно, а возможно — слезы глушил.

В окно, подплыв, глянула луна, и по коридору протянулся зыбкий след. Гиляров одернул на себе френч и вышел на платформу.

Свежело, у водокачки догорал костер, в хвосте поезда неосвещенные вагоны стояли понуро, точно быки, застигнутые ночью в степи, а две—три фигурки, маячившие у огня, казались погонщиками.

Гиляров прошел внутрь вокзала — там на весах дремал седой железнодорожник с веником в руках, на оголенной буфетной стойке усиками пошевеливали прусаки и карабкались по забытым пустым бутылкам. Гиляров снова направился к платформе и круто повернул к садику.

*

Но белого платья там не оказалось.

Вскоре Сестрюков, на ходу натягивая куртку, спешил к Гилярову; второй проводник недоумевал, что это вдруг в такую пору понадобился Сестрюков комиссару.

— Так вы сказали, что она в Харьков едет? – спрашивал Гиляров, старательно поправляя зеленый козырек лампы.

— Точно так! — отвечал Сестрюков и глаз напряженных не отводил от комиссаровского лица, вцепившись в тайной и бодрой надежде.

— В Харьков, вы говорите. Вот как... А нам надо в Екатеринослав.

— Барышня могут и от Екатеринослава повертаться, — посмелев, подсказал Сестрюков, и сам же обомлел от своей смелости.

— Все можно и ничего нельзя, — проговорил Гиляров и сломал козырек, надавив слишком.

V

Сестрюков потупил глаза, но не надолго: мигом ожили они, и если, действительно, глаза человеческие могут улыбаться, то они не только улыбнулись, а расплылись одной сплошной улыбкой и рассмеялись счастливо, когда Гиляров, отбросив куски смятого картона, привстал и молвил:

— Вы найдете ее вагон? Проведите меня.

И не менее счастливым говорком покрикивал Сестрюков под окошком Тониного вагона:

— Барышня Тоня, а барышня Тоня, — и возбужденно кивал Гилярову, стоявшему позади. — Сейчас отзовется, Петр Федорович, сейчас отзовется, одну капелюшечку.

В окне забелели рукава.

Сестрюков отошел в сторону — что ж, загляделся на остаточные угольки костра, а такие же угольки перекатывались по собственному сердцу и грели и грели...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Уже поздно ночью Сестрюков перетаскивал Тонины свертки в салон-вагон, а она шла рядом и говорила:

— Зачем, зачем я только согласилась?

В купе, отведенном для нее, где уже постель заранее приготовили и столик покрыли салфетками из уцелевшего министерского добра, она не переставая твердила:

— Зачем? Зачем?

И не пожелала прилечь, как ни уговаривал Сестрюков, и не верила ему, что это сам комиссар надумал, а не он подстроил:

— Ты меня обманываешь, Сестрюков. Это нехорошо. А еще старый друг. Вот ты какой. Не лягу, пока ты мне правду не скажешь. Не приставай, не буду спать, — и вдруг обхватила его шею, целуя бурые щеки. — Ой, только не горюй — буду, буду. Лягу, лягу. Вот уже легла, видишь. Вот уже сплю. Как хорошо: подушка, удобно, никто не курит — как дома. Да-да, я дома. Это мои каникулы. Я уже шесть ночей не ложилась. Все сидя дремала, то на одной скамейке, то на другой. Как странница — без места, без ночлега. Я и есть такая... Тучки небесные, вечные странники... Но я не тучка. Я... Они по небу бродят, им хорошо. А я по земле. Иди, иди. Тебе спать надо много-много, я тебя сегодня так утомила. А больше не буду. Вот увидишь завтра: добренькой буду, а ты мне завтра расскажешь, как ты жил, где ты бывал. А там, где я, где дедушка, где арбакеши кричат, ты ни разу больше не был? И фазанов больше не видел? И не ел хандалек? Ты уже все забыл? Так ты уже совсем как бабай — старенький.

Перед уходом она попросила его прикрутить электричество, повынимала гребни — косы упали.

И так лежа в потемках, руки за голову забросив, отчего сразу всему телу стало легче, точно свалилась с него сухая короста, она думала о чуде, что осенило ее так неожиданно и так просто, бесхитростно встало на ее пути сегодня, когда еще вчера путались тропинки, и по-обычному все до одной были не свои:

«Вот я опять в голубеньком. Вот я опять с ним. Как все странно. Революция, война, а я все-таки с ним. Это настоящее чудо. Боже, значит, на земле еще есть чудеса? А если одно пришло...: Может ведь и другое притти, и я отдохну. Может? Опять я с голубеньким. Могла ли я думать? Могла ли я ожидать? Тогда я спала в первом купе справа. А думка моя потеряна. Я все растеряла. Кто там теперь? Он? Комиссар? Он как будто больной. А лоб у него высокий, как у дедушки. Он когда-нибудь улыбается? Машинистка тоже революционерка? Как она за обедом следила за мной. Она постоянно улыбается. Нет, это не улыбка. А он? Никогда? Чудно: ко-ми-с-сар. — Это слово она произнесла вслух, разбивая по слогам.— Почему он мне предложил перебраться? Ведь я ему чужая. Сестрюков не лжет. Или пожалел? Значит, я очень жалкая, и каждый может сразу заметить, что мне плохо, что в октябре я в белом платье, и надо меня пригреть? И я еще в соломенной шляпе. Не хочу я жалости, не хочу. Вот прямо я и скажу ему: не хочу. Господин комиссар, я не хочу, чтобы вы меня жалели. Мне совсем... не так худо. Ну, из миниатюры я, ну, пою я скверные песенки. Ну, актриска я. Да-да, актриска, а не артистка. Так в Ростове мне поручик Рымгайло крикнул: пей, пей, актриска, нечего жалеть себя, все окачуримся вскоре, время такое, все на том свете будем. Он уже там — злой и несчастный. А я...

Она насторожилась, приподнялась: в коридоре раздались шаги.

— Это он. Я ему должна сказать. Сегодня же. Пусть он не думает.

II

Она распахнула двери и, забыв, что волосы не в порядке, что косы по плечам пущены, вышла в коридор: сонно, никого нет, на окнах шторы натянуты, а вот только в раскрытом салоне что-то блестит, что-то отражается издали, будто ручей пробежал.

И на отражение пошла Антонина Викторовна Ашаурова, по паспорту дочь гвардии полковника, двадцати трех лет от роду,

по сцене Викторова, когда-то девочка Тоничка, институточка с нарукавниками, а ныне артистка батумского театра миниатюр «Ренессанс», где зимой пела о том, что «есть у меня один секрет», потом весной читала солдатам-фронтовикам «Каменщик, каменщик, что ты там строишь», а после «Каменщика» танцовала танец ковбоев в сомбреро, в стоптанных сапожках и красном шейном платочке поверх мужской пикейной рубашки, в паре с веснушчатым премьером, у которого зубы гнили, и потому дышал он в лицо креозотом.

Пошла на отблеск и лишь на пороге догадалась, что это зеркальное трюмо светится. В одном окне штора была приподнята — струились по зеркалу колеблющиеся лунные пряди; за облако пряталась неуемная луна — зеркало темнело, но тотчас же снова и снова тянулись пряди, будто бесконечные, бесконечные, будто живые и в то же время неживые, неведомо куда стремящиеся, как вода проточная с гор: по камням, по ложбинкам, по песку, все вперед, вперед. Но куда, куда?

Тоня подошла поближе, но робким шагом: так с огромной душевной боязнью тянешься к заветному, не можешь не тянуться, но опасаешься, не встретят ли тебя с укоризной, тебя, кого от заветного отринули и отбросили в противоположную сторону.

Еще ближе — и встала перед зеркалом во весь рост.

— Здравствуй, зеркало, — сказала она.

И молчаливый вечный свидетель, как всегда невозмутимо, принял еще один подошедший к нему лик.

— Узнаешь? — спросила Тоня и даже подалась вперед, как за ответом желанным, а в этот миг луна зацепилась краем за облако, побежала вниз темная полоска, переломила зеркало на две половинки — нижнюю в глубь погнала, верхнюю выдвинула — и точно кивнуло зеркало: да.

Тоня ахнула и прикрылась руками, а когда отняла ладони — все лицо изнутри горело целительным огнем.

— Милое, милое ты мое зеркало. Хорошее ты мое.

И, подвигая к нему кресло, говорила:

— Я посижу с тобой. А ты погляди на меня. Погляди, какой я стала, как мне нехорошо...

III

Как некогда, как бывало в незабвенные, безвозвратные дни кремовых трубочек, обильных слез над утащенным томиком «Обрыва», сувениров от подруг, засушенных цветов, пансеновского «Фрама», писем дедушки о том, что в саду удачно взошли азалии, стихов об ангеле, который душу младую в объятиях нес, и рассказов Прохора о солдатских представлениях «Чорта, мельника и колдуна», уместилась в кресле с ногами, глубоко ушла в него и кожаной, надежно-просторной спинкой отгородилась от всего.

От всего—и от пляски ковбоев, и от меблирашек с запахом кофейной гущи и посапыванием коптящего примуса, и от летних садов с куплетистами, с мраморными столиками, к ночи испещренными скабрезными рисунками и надписями, с зрителями, похожими на лакеев, и лакеями, похожими на жуликов. И от ротмистров, угоревших в кровавом дыму и угар новый возобновляющих на отдыхе, и от отдельных кабинетов с пробуравленными дырками в дощатых стенках, с тепленьким шампанским, допущенным высоким покровительством меценатствующего пристава. И от мартовских дней, когда крики «ура» взмыли Тифлис, и красные флаги вихрем опоясали его, а она лежала в своем номере третий день без еды, кутала пледом стынувшие ноги, в отчаянии одурманивая себя остатками эфира, а сосед по номеру, коллежский советник в отставке, в нанковых не по сезону панталонах, проворовавшийся земский начальник в эспаньолке, уговаривал: «Рвите, рвите паспорт. Нас, дворян, будут резать, parole d'honneur. Нас, чистокровных, эти канальи пороть будут, je vous assure, увидите. Рвите».

Перед зеркалом и уснула.

Сперва в глазах зарябило, потом неведомо откуда прилетевший фазан крыльями взмахнул, рябь прогнал, но тонкую пахучую сетку накинул на веки, пахучую и разноцветную. Затем сквозь дрему почудилось, что подошел бабай-Мутала, тот самый, что неподалеку от дедушкиного дворца торговал кок-султаном, виноградом и персиками, подошел и опрокинул над ней кулган с розовой водой, и от теплых ароматных струек даже по

— Корабли, что ночью прохо...

— Не так, вот как: корабли...

И Гиляров, ловя подсказанное, шевелил запекшимися губами:

— ... проходящие ночью, говорят друг с другом огнями, — и видел необозримое бурлящее море, а себя привязанным к сломанной мачте с потухшим фонарем.

V

Рано проснулась Тоня в своем купе и после многих дней впервые почувствовала себя не разбитой, хотя спала всего-то часа три. А вскоре и Сестрюков постучал:

— Барышня, чайку кушать.

Тоня отвернула занавеску — над холмами плыли тонкорунные барашки, то тут, то там голубели небесные проталины.

Тоня поправила у плеча сорочку и присела.

— Ко-ми-с-сар, — проговорила она раздельно, вслух и засмеялась смущенно и радостно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

День пробежал, как весенняя тень по косогору, Тоня даже не успела оглянуться.

Уже давно — когда это было? — не проходили дни так безболезненно, не задевая, не раня, точно не часы шли, а лепестки осыпались, точно не в жизни еще шаг-день отмерен был, а на берегу нездешнем, высоком-высоком, над синим провалом день-мгновенье пронежилась. И потому не сушили злополучные мысли, ставшие в последнее время неотъемлемыми — никакие, даже новые о чудесном не посетили, даже чудесные о новом, где озарение, где предчувствие пленительных минут уже не исторгнуть из души. А за ужином перевела взор с блюдца на Гилярова, посмотрела, как он от телеграммы, только что полученной из Тифлиса, отщипывает кусочки и кусочки то ко рту подносит, то сбрасывает на пол, словно не знает, куда девать самого себя промеж этих лоскутков, поглядела, как он дергает

бровью, — и подумала с жутью, жалостью и первым волнением приближающейся любви:

«Господи, да ему еще хуже, чем мне», — и снизился высокий берег.

Но не горевала, что пропал он, а с ним и безмятежность, не объяснила себе, почему нет сожаления, но поняла бездумно, что взамен другое будет, — ярче, нужнее, и, быть может, выше, выше любой горы...

... Снова притих вагон, улеглись проводники, машинистка заснула над развернутой книгой о городском самоуправлении. На Тонин стук Гиляров тотчас же отозвался, как тотчас же после ее слов: «идемте, идемте в салон», сказал:

— Я вас ждал.

II

В эту ночь луна где-то заблудилась.

Зеркало только едва отсвечивалось, уже само по себе, как будто от всего отмахнулось, чтобы суметь прислушаться по-настоящему, чтоб никто не помешал, никто и ничто.

— А мне можно при вас с косой? — спрашивала Тоня и поджимала ноги под себя. — Вы не смейтесь. Поймите, милый, милый комиссар... Я вас так буду звать. Пока... Мне нравится это слово «комиссар», в нем для меня необычное и... И приятное. Поймите, что я так много вольностей насмотрелась, что мне страшно, когда я... Ах, что̀ насмотрелась! Я сама позволяла другим и себе. Я... комиссар. Я гулящая. Слышите?

— Слышу, — ответил Гиляров, и взяв ее руку, поднял пальцами кверху. — А пальцы остались. И живые. И не надо, не надо больше об этом.

— Почему? Почему? — сухо отозвалась Тоня. — Вам противно? А если мне хочется, чтобы вам стало противно. Нет, нет, — потянулась она к нему испуганно и плечами передернула — такой холод вдруг объял их. — Я не этого хочу. Я хочу другого. Я хочу, чтобы вы всё знали обо мне. Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я под маской пробралась сюда. Как ряженые свою настоящую одежду оставляют дома. Клянусь...

Комиссар, милый, клянусь, я ни на одну минуту не притворялась. Когда вы попросили меня перейти сюда, я сразу сказала: нет. Только потому, что не знала, смогу ли я вам все рассказать о себе. Я побоялась, — да, да, побоялась. А притти и не сказать, таиться, — нет, еще хуже, точно под чужим именем. Я побоялась, боже мой, ведь я только женщина. А потом... Вы стояли на платформе. Сестрюков приуныл, чуть не разревелся. Я вспомнила, как он говорил мне, что вы не такой, как все, особенный. И я опять поглядела на вас, а вы сказали: ведь это ваш вагон, ведь это единственная радость, которая вам осталась, вы снова обрели ее, и надо итти к ней, ведь это ваше старое пепелище, и надо вернуться к нему. И у меня сердце замерло. Господи, подумала я, ведь этот человек заглянул мне в душу. И я сказала: да. А ночью я решила: жалеет, как котенка, который попал на рельсы, и вот его сейчас поезд раздавит. И вот пришла тогда и сказала об этом. Я хочу, я хочу, чтобы вы все знали про меня.

— Я знаю, — мягко проговорил Гиляров, — я сразу все понял. И не надо об этом.

— Поняли? — она окончательно зарылась в кресле и не пошевельнулась.

А потом глухо спросила:

— Значит, по мне видать? По лицу? Да? По платью?

— Ничего не видать, бедная странная женщина. У вас лицо девичье, вы еще в школе, и мел от доски на локтях. А в платье без шляпы вы — как причастница. Мне губы объяснили.

Она рванулась и снова свернулась клубочком неподвижным. Вскоре оттуда протянулась рука, на слабом свету сквозная, и легла на колено Гилярову.

— Я больше не буду их красить. Никогда. Хорошо?

— Хорошо, — помолчав, ответил Гиляров и осторожно-осторожно снял ее руку и положил ее на край кресла.

Так она там и белела до рассвета.

И от пальцев не отрывался Гиляров, и жили они перед его глазами на тисненой обивке кресла и, словно камни драгоценные на дне раскрытого ларца, переливались и просились взять их, любоваться ими...

III

Второе Тонино утро в салон-вагоне застало ее в слезах.

— Я хотела рассмеяться, когда проснулась, — рассказывала она Гилярову в третью ночь.

Не могла не постучаться к нему, не позвать его к зеркалу, к лунным пятнам, к креслу, где можешь вся целиком уместиться, и оттого кажется, что ты в безопасности от всяких бед и напастей, покоишься на широкой, родной груди, и грудь эта не выдаст, защитит, убережет.

— Мне сон снился. Редкий, дивный, не как прежние, потому смеяться хотелось, так это хорошо было. Вот в саду я будто, на качелях, качели взлетают, а я кричу: еще, еще. Они еще выше. А на мне красное-красное платье, а в саду вишни распускаются, и вся я в цветах вишневых. А я заплакала, я услышала в коридоре ваши шаги и вспомнила, как вы за ужином кривились, читая телеграмму, какой бледный сидели, как сгорбились. Я не хочу качелей. Я хочу знать, что с вами. Не хочу я вишневого цвета, когда вижу, как вы угрюмы, как вам тяжко. Что̀ мне качели, когда вам трудно.

— Пройдет. Пройдет, — отвечал Гиляров и не горбился, точно доказать хотел милым пальцам, будто вовсе не так тяжко — и вот даже не придавлен, а стоит прямо, — точно успокоить их хотел, отвести от них и горести и заботы. — Пройдет. Еще немного...

На том же месте, что и вчера и третьего дня, Тоня уже не спрашивала, есть ли настоящие слова, а верила им.

«Я глупая, — говорила она себе. — Я многого не понимаю, о чем он говорит. Но я пойму, пойму. Но я хочу, чтобы он мне говорил. Со мной никто так не говорил. Он мне, мне это говорит. Значит, он знает, как мне с ним светло, чувствует, что все мне нужно — и он, и слова его, и боль его».

— Еще немного, еще немного, и я уже совсем успокоюсь. Я уже почти спокоен. Ведь я уже знаю, во что я уткнулся. Разбился уткнувшись. Тем лучше, только плохо, что не на смерть. Надо вот еще раз заглянуть и раз навсегда условиться с самим собой: посторонись, Петр, посторонись и пропусти тех, кому ворожея наворожила. Наворожила по-сказочному: плечом

двинешь — переулочек, рукой взмахнешь — улица. Бог мой, старая русская ворожея — не то ведьма, не то ангел. Посмотришь: ангел, ангел; взглянешь — ведьма, ведьма полосатая. Но все равно: от святого или дьявольского, а посторониться надо. Не то в лягушонка обратишься, не то в жабу, не то в сыча. Тоже по колдовству. Посторониться — и убегать, убегать. Не в переулочек, не в тупичок — нет, все переулочки затряслись, ходуном пошли все Скатертные, Спасские, Борисоглебские, все тупички, все клетушки попадали. Убежать, зарыться на краю или затянуть на себе кушак покрепче, вынуть рукавицы и гаркнуть: «Эй, бабушка-ворожея, исполать тебе, верю. Верю, что Русью пахнуло подлинной, бегу, родненькая. Сарынь на кичку, молчавшие досель. Сарынь на кичку, не ушкуйники, нет — угодники, праведники! Плыви, расшива, гуляй, волна, смой всю ветошь, потопом пройдись по земле. Лейся, огненный дождь, сорок-сороков ночей. Дорогу, дорогу, храмы, дворцы, старые книги, старые истины, старые боги, старые заповеди. Все залей потопом, никаких ковчегов. Ни одной пары нечистых на разводку. Все потопи, на дно потяни навсегда, пусть раки гложут, или выпусти, как из новой купели, заново крещеным великим крещением, новой живой водой. А если все это наваждение и ворожея — ведьма? Надо ответить, надо. А тяжко, тяжко, сил нет — и гнусь, и гнусь.

А с кресла послышалось:

— А я не могу помочь? Ничем? Не могу?

И потянулись было пальцы порывисто, но застыли по пути, словно сознали все свое бессилие.

— А если это метелица метет? А если это ведьма дыму напускает, гарью мутит, чтобы, потешившись, взвиться на метле в трубу, а из трубы каркать: сгинь, Русь, сгинь, ни дна тебе, ни покрышки? Все равно: рукавицы так или иначе надо надеть, и рукавицы железные. А у меня руки дощечки. Из таких дощечек кустари коробки делают, а потом их покупают и дарят на память для хранения писем, мелочей. Вот мы и наделали таких коробочек много. И сами там очутились: на память. И нас подарят новой России с надписью: безделушки. Не хочу в коробочку. А куда? Под кирпич хочу. Когда строят дом — и то кирпичи иногда падают с лесов. А генерал

писал: строится башня вавилонская. Тем больше падающих кирпичей на головы. Кому на горе, кому на счастье. Я не заслужил этого счастья, я знаю, но я молюсь о нем, потому что больше некому и не о чем молиться.

IV

Все утро Гиляров оставался в своем купе и от обеда отказался.

Машинистка усмехнулась и, следя исподтишка за Тоней, делилась:

— Петр Федорович не в духе. С ним это бывает, — и как бы мимоходом небрежно осведомлялась: — А почему вы не едите? Нет аппетита? Вы тоже не в духе? Плохо спали? Петр Федорович тоже в последние дни не спит. Сегодня ночью я слышала, как он дверью хлопнул. А вы не слышали? Вы крепко спите?

Тоня, едва досидев до конца обеда, встала. Машинистка поковыряла вилкой, развернула очередную брошюрку, но не читалось — тянуло в коридор, туда, куда вот только что направилось белое платье.

У дверей Гилярова Тоня остановилась.

— Комиссар... — позвала она, и голос дрогнул; дрогнул и упал. — Комиссар...

Не отозвались изнутри; зарделись щеки и погасли, а пальцы соскользнули с фанерок двери, не задев, не стукнув.

Минут через тридцать Тоня снова подошла, но дверь уже была открыта, и в неубранном купе валялись на полу, на постели нетронутой клочки бумаги и куски изломанного карандаша.

Тоня подозвала Сестрюкова, сказав:

— Надо у Петра Федоровича прибрать.

Прислонилась к косяку, глядела, как Сестрюков наливает воду в графин, как он взбивает подушку, и говорила ему:

— А когда Петр Федорович придет — ты мне скажи.

— Они на вокзал прошли. Говорят, будто на мосте уже поправили. Стало быть, в дорогу.

— Что ты говоришь? Поедем? Когда?

— Может, и сегодня, а то и завтра.

— А куда мы... Куда вы сначала поедете?

— В Бердичев.

— А потом? — тоскливо спрашивала Тоня.

— Куда начальство прикажет.

— Какое начальство?

— Из Питера. Министр и прочие.

— Куда прикажет? А куда... самому захочется?

— Что вы, барышня! Никак нельзя — служба. Петр Федорович такой: раз приказано...

— Нельзя, говоришь?

— Нельзя, Тоничка.

Тоня посторонилась: Сестрюков подметал пол. Встретилась она с Гиляровым только за ужином. Ужин прошел в молчании, барышня из Клина зубочисткой выводила на салфетке узоры.

Когда убрали со стола, Гиляров сказал, ни на кого не глядя:

— Сегодня ночью мы едем. Путь уже открыт.

Ночью застучали молотки.

Тоня глянула в окно: внизу шевелились фонари, черные спины нагибались к земле, и постукивали, постукивали молотки, пробуя крепость колес, вдоволь отдохнувших на стоянке.

V

Накинув жакет, торопясь, Тоня покинула купе, по коридору поспешила к выходу — скорей, окончательно убедиться, что не обманывают молотки, что правду выстукивают они о близком конце, о том, как за Ростовом разбегутся рельсы: одни на Харьков, другие на Бердичев, туда, где есть приказы, начальства, служба.

А в коридоре ее тут же окликнули изумленно:

— Вы куда?

— Не знаю, — ответила Тоня. — Не знаю, — повторила она, когда Гиляров с порога салона, где он не мало минут простоял, подошел к ней. — Не знаю, — и на рукав его френча положила похолодевшие пальцы.

— Я вас жду давно.

И услышала, что добавил он тихо-тихо:

— Вас... Тоня...

— Я не Тоня, — проговорила она. — Я... я тону, — и прижалась к нему, все отдавая блаженно — и себя, и свою просветлевшую душу, и томленье свое.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Снова, после недельной передышки, салон-вагон помчался по русским полям.

Снова по утрам Ремингтон освобождался из жестяного плена, и комиссар Временного Правительства кратко и сухо сообщал Петрограду о продвижении своем, о причинах невольной задержки, указывал свой маршрут, изредка прибавлял два—три слова о разбитых паровозах, о самоубийстве нескольких офицеров на станции Дербент, где неизвестно почему очутившиеся там матросы, дробя стекла, срывая двери, ворвались в штабной вагон, о поджогах в Баку, о бабьем бунте в Таганрогском уезде, где одна помещица оказалась ведьмой и колодцы отравляла, о погроме под Ростовом, о пастухе-пророке с Дона, антихриста воочию увидавшем, об эшелоне, разгромившем депо, о женском монастыре, где монашки продавали божью воду для изуничтожения социалистов, о деревенских ходоках, ищущих новые земли. Но Петроград упорно молчал, не отзывался.

А по ночам Петр Федорович Гиляров, человек во френче цвета хаки с сизым, голову свою прятал в колени певички, танцовщицы и декламаторши из батумского «Ренессанса» и умолял уехать, не считаться с ним, забыть о нем:

— Я тяжкий груз. Не по твоим плечам. Да, ты мне нужна, и смешно теперь скрывать это. Да, я один, и тяжко мне. В Белоострове я плакал от счастья, а сейчас я на четвереньках — придавило меня. Но ведь земля-то та же. Стоял ли я на ней обеими ногами или лежу теперь пластом, но она-то осталась. Почему же теперь не поит она меня верой, надеждой? Высохла она? Потрескалась? Нет, это я высох, это на мне трещины. И не возись со мной. Верю, верю, что корабли говорят друг с другом огнями, знаю, как глубока темень, но

ведь я давно потушил их. Испугался ветра, не смог сквозь бурю пронесть. Я давно несусь, не зная ни путей, ни гавани. Ради бога, не говори мне, что ты никчемная, что ты лишняя. Ты живая, у тебя душа жива, а моя давно выдохлась. Ведь это я только по виду прежний. Я не люблю лишних телодвижений, потому кажется, будто все благополучно. Неправда, — как есть губернии, неблагополучные по холере, так я давно неблагополучен по силе и выдержке. И сколько нас таких — дутых, безруких, безногих. А мы машем руками, топчемся на одном месте и кричим: идем, идем. Русская интеллигентско-революционная вампука. Не хочу ее, довольно. А ты — беги скорее. Ты не знаешь, что такое социализм, нужен ли он России, кому нужны мы, кто нужен нам, — и ты уцелеешь, милая русская женщина. Уцелеешь даже в кабаке, даже под пьяными поцелуями. Когда нужно будет — сотрешь их, и уста станут чисты. Когда нужно будет — кабак отодвинешь и в храм войдешь. А мне... Мне не по дороге ни кабак, ни храм. Уезжай, уезжай, родная!

На остановках он первым устремлялся к вокзалам и уходил последним.

Жадно прислушивался к разговорам, к толкам, с такой же ненасытностью приглядывался к лицам, от одной шинели переходил к другой, от армяка к зипуну, от бабьего платка к косынке сестры, от матросской полосатой фуфайки к засаленной скуфейке лукавого монашка, от теплушки к теплушке, от котомки старика-странника к венгерке проходимца-жулика.

Гудела толпа — он торопился на гул, где-нибудь кучка останавливалась — он ютился возле нее, песня раздавалась — он шел на песню, вопль прорезал воздух — он бежал на вопль, щелкали винтовки — он протискивался вперед.

А возвращаясь, глядя, как трещат крыши вагонов под сапогами, лаптями, как сотни обветренных рук липнут к перилам, хватаются за буфера, за оконные рамы, за дверные скобы, как треплются по ветру юбки, шинели, очипки, платки, как гнутся оси, оседают мостики, перекинутые от одного вагона к другому, как гуляют мешки по головам, слушая, как в один беспрерывный ропот сливаются крики, визг, хрип, кашель, ругательства, чавканье и несутся вдоль насыпи, перебитых

щитов, за которыми мертво лежат серые голые поля, кренятся пустые овраги, и чернеют буераки, — еще настойчивее, еще с большей горечью, словно упорнее назло себе, убеждал Тоню:

— Ты должна оставить меня. И твой голубенький не защитит. Только чудом он еще держится, но это ненадолго. Пойми, что тебе нельзя оставаться здесь.

— А тебе, а тебе? — и она потянула его к зеркалу. — Погляди на себя, во что ты обратился. Ты уже разогнуться не можешь. А тебе?

— Я капитан, — попробовал он пошутить. — На гибнущем корабле. Должен до конца остаться.

— Не шути, — взмолилась она и побледневшее лицо спрятала в старом гостеприимном кресле, но и этот верный друг долго не мог успокоить ее.

— Плохой капитан, — пробормотал Гиляров. — Дырявый, безрукий, но остаться должен.

И зеркалу, молчаливому неизменному свидетелю конца многих «капитанов», улыбнулся искривленной и жалкой улыбкой.

II

На остановках Сестрюков гасил электричество, запирал выходные двери, а в Ростове еще к тому смастерил деревянные заслоны.

И все чаще и чаще шушукались меж собой проводники, и не раз замечала Тоня, что порывается Сестрюков заговорить с ней, но нет в нем решимости, а потому старается не попадаться на глаза. Однажды подслушала, как справляется Панасюк у Гилярова, где прикажет он припрятать серебряные подстаканники, ножи и ложки.

В тот день, когда Сестрюков впервые приладил к двери заслоны, Гиляров твердо сказал Тоне:

— В Синельникове мы расстанемся. Молчи. Так должно быть, — и отвел глаза от задрожавших, испуганных, милых ресниц. — Я попал в водоверть. Страшна она, бешено разворачивается. Ты, к счастью, не видишь, но я вижу. Все ширится и ширится. Кого заденет, — конец тому. Не могу, чтоб ты даже подле стояла. Я попал — и пойду ко дну. И не пробуй

удержать — все равно не сможешь. В Синельникове ты пересядешь в харьковский. Нельзя иначе. Нельзя. Нельзя.

А при гудке сорвался с места.

И снова побежал к платформе, к вокзалу, к гулу, к запаху овчин, махорки, доморощенной сивухи, к ларькам с воблой, к облупленным стенам, где спина спину выпирает, где звенят стекла от брани, к грудам тел и мешков, вместе спаянных жадностью, верой, слезами, проклятьями, мозолями, к тверской, вятской, черниговской, олонецкой, пензенской волне, — к водоверти: еще раз заглянуть, еще раз убедиться, еще раз понять.

В сумерки Тоня внесла к нему в купе свечку. Он с постели приподнялся ей навстречу.

— Теперь я тону, Тоничка. И вот даже пузыри пускаю.

И, уже не пряча ни тоски, ни боли, искал в пальцах ее забвения, тишины и отдыха.

— Ты когда-нибудь видела, — спрашивал он, руку ее укладывая себе под голову, — как в половодье гибнет человек, застигнутый на реке? От одного берега отошел, другой далеко, а может быть, его и совсем нет и никогда не было, только марево одно. Громоздится льдина на льдину, гора растет. Вдруг грохот, один удар, третий — и впадина. И летит в нее человек, и не за что ему ухватиться. Все соломинки ветром унесло, а льдины руки режут, а по льдине ноги скользят. Вскрылась река. Не угадали мы часа, уговаривали себя, что вскроется она смиренно, ласково, в положенный день. Ведь мы ученые, знаем законы природы, недаром изучали их годами по Парижам, Женевам — и сели, бог мой, с каким треском! С какой убежденностью мы талые места заклеивали бумажками. Умники, умники, алхимики всякие, законоведы. И летят вверх тормашками все законы. И ученые тож, с приборами, с выводами, с барометрами и словами. Туда им и дорога. Но только не ты. Ты тут не при чем. Ты маленькая.

— Так пожалей меня, — попросила Тоня.

— И не покидай меня, — поутру говорила она, держа шляпу в руках, когда поезд приближался к Синельникову, а Сестрюков из купе выносил ее чемоданы. — Не покидай. Я не жена тебе, я даже не любовница, но мы не должны расставаться. Ведь

и тебе так же худо, как и мне. Ведь и ты один, как я. Так уйдем оба.

— Куда?

— Не знаю. Но мы узнаем, потом узнаем. Вот уже и вокзал. Петр, я сейчас надену шляпу — и конец. Ты уйдешь, салон-вагон уйдет. Ни тебя, ни его. Чудесно обоих нашла и обоих потеряю. Я ничего не прошу — ни ласк, ни клятв. Я не говорю: возьми меня в жены. Не говорю: дай мне счастья; бог с ним, со счастьем. Мне счастья не надо. Но только не уходи. Петр... хотя бы до Екатеринослава. Мы узнаем, мы потом узнаем, куда.

Зашипели тормоза, Сестрюков вскинул чемодан, Тоня застегивала жакет, и увидел Гиляров, как она не той петелькой ловит пуговицу.

— Сестрюков, — крикнул он, — подождите, — и глухо сказал Тоне: — Объясните ему... Скажите, что раздумали... пересаживаться в Синельникове.

III

Из Екатеринослава поезда на Харьков не шли: бастовала линия, харьковские телеграммы не доходили. Одна случайно проскочила с известием, что украинские полки, покидая Север, запрудили все дороги. В городе постреливали на окраинах, ждали погрома, в университете с утра кипел митинг, в двух — трех аудиториях раздавали оружие самообороне. Съездив в город, комиссар снесся с Знаменкой, оттуда ответили, что пока продвинуться можно.

Ночью, при одном фонарике, вдали от вокзала составлялся поезд.

Работали с оглядкой; часть поездной прислуги разбежалась, и помогали офицеры: подталкивали вагоны, неуклюже, но лихорадочно возились с буферными цепями. Работал и Гиляров. Была минута, когда он чуть-чуть не угодил под колеса; похолодел, споткнувшись: «Вот... конец», — и только невольно заслонился рукавом, а поднялся — опять то же небо и те же осенние продрогшие звезды.

Крадучись, погасив огни, точно убегая от врага, или к врагу подкрадываясь, поезд с опаской пробирался по запутанной сети

рельс, пока не выскочил на нужный путь и не понесся вдаль, оставляя за собой дымные полосы, вдогонку крики обманутых мужиков и солдат, вокзал, полный распластанных фигур, залитый потом, бабьими слезами, остатками солдатских щей.

Но точно такие же вокзалы побежали ему навстречу, с тем же чадом, с тем же ревом, с той же шелухой от семечек, с теми же заплеванными полами, с теми же грошевыми свечками перед образами, возле которых хныкали дети, переругивались мужики, почесывались переселенцы, и брякали манерками беглецы с фронтов, — обшарпанные, в рваных обмотках.

— Кончено, — сказал Гиляров, входя к Тоне. — Попрощайся с Харьковом. Надолго, а быть может — и навсегда, — и горестно припал к ее руке. — Моя вина. Я должен был настоять в Синельникове. Моя вина — прости.

— Не твоя, не твоя, — поднимала Тоня его голову и искала глаз его. — И не проси прощения. За что? За то, что ты мне помог? Найти себя и тебя? Нет вины, нет виноватых. Милый, милый . . .

IV

В Знаменке барышня из Клина сбежала.

В ночь перед этим она проплакала до зари, и не только потому, что обманул ее Блос, — о Блосе и не вспоминала, когда в Екатеринославе от одиночества, темени и насторожившейся тишины не знала, куда приткнуться. Прощаясь с Гиляровым (с Тоней не простилась), просила иногда вспоминать ее.

— Не отпускай ее, — говорила Тоня и порывалась бежать за машинисткой, остановить, вернуть ее.

— Пусть, пусть, — удерживал Тоню Гиляров. — Она знает, что делает. Она не пропадет. Она, как крыса, заранее убегает. Она маленькая-маленькая крыса, но жить и ей хочется. Пусть бежит. Она права: мы тонем. Беги и ты.

— Я не крыса, — сквозь слезы улыбалась Тоня и мелкими-мелкими поцелуями, точно крестиками, покрывала Гилярова, — я не крыса. Посмотри на меня, только посмотри, и ты все поймешь. Поймешь, что меня нельзя было отпускать. Поймешь, как безмерно ты наградил меня, поймешь, что спас меня. Ляг, ляг.

Я посижу около тебя. Ты сейчас бледен, как умирающий, а я хочу, чтобы ты жил. Я дурная, я знаю: я ненавижу твою революцию, я ненавижу твоих министров. Я... я не понимаю, для чего все это, к чему. Я глупая, я как баба деревенская, но сердце мое чувствует, что нужно тебе, куда надо увести тебя, почему ты такой. Чувствует и не ошибается. И мы уйдем. Вот ты в Бердичеве сдашь дела свои... Ведь ты их можешь сдать?.. Можешь?.. Ну, ответь же мне. Не хочешь? Ну, хорошо, хорошо. Потом, потом ответишь. Господи, какой у тебя лоб горячий. Приляг, приляг. Ни о чем не думай, хоть полчаса. Милый, слышишь, как колеса стучат?.. Ведь это мы едем домой. Мы найдем дом свой, и ты забудешь о кирпичах, как я для тебя все забуду, все, что только захочешь. Тебя и меня везет наш голубенький. Тебя и меня. Слышишь, слышишь, как он стучит: домой, домой!..

V

Покачиваясь, дребезжа, на поворотах вздрагивая, вагон мчался все дальше и дальше.

А перед ним, за ним, вокруг него гигантской сказочной птицей кружилась октябрьская ночь, одним — черным — крылом осеняя поля, леса, города, окопы и села, а другим — красным — сея по русской, по-старому алчущей нови колдовские семена огней, пожаров, искр, бурь, криков, песен, смерти и вихря для будущих великих всходов нового святого преображенья бездны и хаоса.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

В Фастове поезд задержался на пол-дня.

Человек тридцать пехотинцев в полной походной амуниции, молча, лишь изредка отрывисто переговариваясь промеж себя, отцепили паровоз, без лишних слов избили машиниста и заставили его повернуть назад к Знаменке, забрав десятка два теплушек, переполненных людьми, откуда предварительно усач в желтом чепане, при помощи двух сподручных в шлепанцах на

босую ногу, но в лихо надвинутых мерлушковых шапках, выкинул всех евреев:

— Выходи, бердичевские. Бердичевских не надо.

В лужи летели подушки, узелки, свертки, тут же исчезая по рукам, и возвращались в те же теплушки, но уже к новым владельцам. Толстый, старый еврей вцепился в край теплушки и повис над рельсами, — задрались брюки поверх глубоких галош, показывая клетчатое цветное белье, на земь упал порыжевший котелок, и разметались по ветру седые волосы. Ловя за ноги, один из сподручных тянул его вниз; две еврейки барахтались у стрелки и, плача, путались в юбках; у одной на затылок сползал парик; неподалеку стоявшая баба в нарядной плахте хлопала себя по бедрам и повизгивала от восхищения. Кружились редкие снежинки и таяли, не доходя до грязной, черной земли, повитой криками спотыкающихся детей, стонами слепо мечущихся женщин.

Паровоз засвистал — желтый чепан напоследок пинком повалил в лужу еврейку с бубликами, веером разлетелись бублики. Подхватывая их, сподручные зашлепали к вагонам; в одном из них солдаты запели «Марсельезу», — поезд тронулся.

— «Отречемся от старого мира», — выводили удаляющиеся голоса; старик-еврей ловил свой котелок.

В окне салон-вагона стоял Гиляров, и как ни упрашивала Тоня уйти, не отходил, щурил глаза, мял занавеску и твердил:

— Я все должен увидать. Вот ты просишь уйти с тобой. Надо же, чтоб перед уходом все запечатлелось. Вот тут, — и взяв ее руку, прикладывал к сердцу. — Тут... Потому что в голове давно уже мутно. Мутно, родная. А ты и мутную голову будешь ласкать? Будешь? И успокоишь ее? А вот кто эту девочку успокоит? Вот эту евреечку? Видишь, как она за стенку хватается? Кто ее утешит, рыженькую? Есть, рыженькая, утешение. Лет через пять — десять у всех будет курица в супе. Терпи, терпи, рыженький цыпленок. А ее мы тоже возьмем с собой домой?

Сестрюков возился с заслонами, Панасюк в кладовке зарывал в мусор министерский сервиз, сворачивал ковры, все гадал, куда ему приткнуть их, лез за советом к Сестрюкову, а Сестрюков, кряхтя над болтом, сердито отмахивался:

— Да плюнь ты на ковры. Ты лучше о живой душе подумай. Куда нам барышню деть? Ну-ну, времечко.

И опять протянул Панасюк, как в мартовские дни, когда растопились снега, и переливчато, звонко и бодро зашумели весенние молодые потоки:

— Мм-дд-аа, достукались.

II

В Казатине Гиляров послал свою последнюю телеграмму в Петроград, — Петроград молчал.

От Бердичева, с фронта, с позиций грядами катились к северу солдатские волны, то целыми эшелонами, то отрядами, то отдельными кучками, побросав окопы, в сторону отойдя от войны. И как гремели пустые манерки, и стучали приклады теперь уже будто ненужных винтовок, разносились по насыпям, по рельсам, по мостам, по вокзалам охрипшие голоса: «Домой. Домой».

За Казатином на разъезде сухонький артиллерист собирал вокруг себя шинели и случайным свиткам махал рукой:

— Подходи, товарищи. Ноне нету никаких разниц. Что мужик, что солдат,— все за одно. Солдат по барину, мужик за солдата. Повоевали на чужой карман, а все пусто. У в Киеве народная риспублика. Есть телеграмма. Без господ, ефрейтор — губернатор. Есть телеграмма. Без обману, замирение и прочее. Подходи, подходи, мужички. Ноне все за одно.

На пути к рязанским, воронежским, московским деревням сметались, точно вихрем, вокзальные лари, будки, опрокидывались вагоны, откатывались локомотивы, до тла очищались еврейские хибарки, присоседившиеся к станциям, и по избам тех же русских деревень хозяйничали туляки, костромичи, залезая в квашни, шаря по печам, швыряясь ухватами, давя кур, топча огороды и пашни.

III

Петроград молчал — и только в Бердичеве узнал Гиляров, почему он замолк.

В штабе, у стола командующего, за картами с флажками, теперь лишними, точно детские игрушки в разгромленном доме,

он окончательно понял, как развернулась водоверть, куда она закинула концы свои, на что размахнулась, кого втянула в свою могучую воронку.

Презрительно, почти с отвращением поглядел он на присутствующих, когда те убеждали не ехать в Щепетовку и равнодушно мямлили то о бессилии, то о том, что надо переждать, пока «безумцы опомнятся», и, получив нужный ему приказ к коменданту Бердичевского вокзала, вышел не попрощавшись.

Из штаба он подошел к Центральной гостинице, о чем-то условился с швейцаром и поехал к себе. Густо падал снег и плотно залеплял опустевшие улицы, заколоченные магазины, одиночных прохожих, при стуке пролетки бросающихся с тротуара к стенам домов, словно под защиту, а дома тоже прятались за ставнями и тоже нуждались в помощи, и не было ее ни для тех, ни для других.

Подъехав к вокзалу, Гиляров велел извозчику не уезжать и ждать его.

Весь запушенный снегом, Гиляров прошел к Тоне, — Тоня спала.

Он нагнулся к ней, и упали на нее с фуражки, словно лепестки неведомых, но прекрасных цветов, несколько снежинок. Тоня со сна провела ладонью по лицу, вздохнула, но не проснулась.

И долго стоял Гиляров, глядя, как, пошевельнувшись раз, затихали пальцы на порозовевшей щеке.

Потом осторожно и нежно разбудил ее:

— Вставай, Тоня. Надо укладываться, извозчик ждет. Я сдал все свои дела.

Всё падали вещи из рук, когда Тоня укладывалась: не слушались в один миг осчастливленные руки, не знали, за что раньше взяться, а Гиляров присел к столу с карандашом и блок-нотом.

Кончив писать, поманил к себе Сестрюкова и заперся с ним в купе; выпуская его, вдруг опять втянул его в купе, с силой взяв его повыше локтя:

— Так как, довезешь ее до Питера?

— Довезу. Как бог свят, — багрово вспыхнул Сестрюков и даже перекрестился.

— Не забудешь адреса?

— Ваше благородие... — внезапно сорвалось у Сестрюкова. — И вы бы...

— Что? Что?

— Невский проспект, 35... — невнятно пробормотал Сестрюков и попятился к двери.

В коридоре Тоня, уже одетая, с сумочкой через плечо, остановила Гилярова и смущенно спросила, не будет ли он смеяться, если она попрощается с зеркалом, с голубеньким, и Гиляров нашел в себе силы не только приветливо и светло улыбнуться ей, но и сказать, что это даже надо, что и он попрощается с ним, как с близким, любимым человеком.

Тоня обходила все уголки и кивала:

— Прощай! Прощай!

Еще раз мелькнули в трюмо удлиненные, повеселевшие глаза. Мелькнули и исчезли навсегда.

IV

Сестрюков и Тоня усаживались в пролетку; Сестрюков двигал желваками и отворачивался.

— Где тебя ждать? — спрашивала Тоня.

— В Центральной, — отвечал Гиляров, пригнувшись: копался на дне пролетки, укутывал пледом заплатанные белые туфельки. — Я снял номер. Сестрюков знает. Ну, с богом.

Пролетка заскрипела по снегу, а вскоре замело и колеи проложенные и черное, все уменьшающееся и уменьшающееся пятно.

Гиляров на одну минуту, только на одну минуту прислонился к фонарному столбу — и прошел в комендантскую.

Часа через два салон-вагон с небольшим составом платформ отошел на Щепетовку; еле-еле плелся поезд, потрепанный паровоз задыхался, отдыхал на каждой версте, Панасюк завалился спать.

Гиляров снимал заслоны с дверей и по белым полям скользил тупым взглядом, и, как поля, мертвенно-чисто было лицо его.

А в Щепетовке салон-вагон как врезался в солдатскую гущу — так и застрял там.

В Щепетовке ловили офицеров и мимоходом громили станцию.

И когда один из убегающих, волосатый генерал со шрамом поперек лба, завидев голубой салон-вагон, четко выделявшийся

среди плоских платформ, кинулся к нему, в нем усмотрев неожиданное спасение, каблуками отбиваясь от цепких. рук, растянутых кричавших ртов, красных, похожих на развороченные помидоры, а Гиляров, рванув дверь к себе, с верхней ступеньки поймал генерала за шиворот, уперся обеими ногами в железную обивку и втащил его на площадку, — один и тот же приклад обрушился и на него, и на генерала.

Потом оба лежали на снегу, рядом, плечо о плечо: Гиляров и генерал со шрамом от порт-артурской раны — оба в шинелях защитного цвета, оба запрокинув размозженные головы к небу, откуда не переставая сыпались мохнатые хлопья и одним белым покрывалом крыли алую кровь, скудную землю и голубой салон-вагон.

А в этот час в номере бердичевской гостиницы, где выцветшие драпри тщетно пытались прикрасить убожество сырых стен, облезлых пуфов и колченогих стульев, Тоня читала письмо Гилярова на двух листиках из блок-нота, с неровными в зубцах краями.

Как некогда в дни кремовых трубочек и писем об азалиях, старый проводник Сестрюков взял на руки барышню Тоничку, поднял ее с полу и понес к дивану...

V

А на следующий день, 30-го октября, салон-вагон повез председателя военно-революционного комитета Н-ской армии в штаб фронта.

Высокое зеркало попрежнему невозмутимо и спокойно отразило фигуру нового хозяина — приземистую, крепко сколоченную, и каштановую прядь волос из-под папахи, вбок надетой, и наган без кобуры за поясом, и гимнастерку на выпуклой груди, и вздернутые брови над смышлеными, молодыми и слегка лукавыми глазками.

Но так как зеркало было надтреснуто крест-накрест — от сильного удара, после того как убили комиссара, и солдаты ринулись в вагон, — то и отражение получилось неверное, словно на несколько частей расколотое.

Коктебель 1919. Одесса 1920—21

СОДЕРЖАНИЕ

3/2

V. Н. Ляшко.

Собрание сочинений в 6-ти томах (под наблюдением автора).

Обложка худ. **С. Чехонина.**

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Том III — Никон из Заимки. Рассказы. 132 стр. Ц. 1 р. 45 к.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Том I — Железная тишина. Рассказы. Том II — Радуга. Рассказы. Том IV — В разлом. Повесть. Том V — С отарою. Повесть. Том VI — Доменная печь. Повесть.

VI. Андрей Соболь.

Собрание сочинений в 4-х томах (просмотрено автором).

Обложка худ. **В. Д. Замирайло.**

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Том I — Тихое течение. Повести и рассказы. 200 стр. Ц. 1 р. 95 к.
„ III — Человек за бортом. Повести и рассказы. 120 стр. Ц. 1 р. 20 к.
„ IV — Китайские тени. Повести и рассказы. 128 стр. Ц. 1 р. 25 к.

VII. С. П. Подъячев.

Полное собрание сочинений в 10-ти томах под редакцией Ив. Касаткина (с предисл. М. Горького).

Обложка худ. **Д. Митрохина**

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Том I — Мытарства. Том II — Среди рабочих. Том III — К тихому пристанищу. Том IV — Забытые. Том V — Шпитаты. Том VI — Обыденное. Том VII — На спокое. Том VIII — Православные. Том IX — Тьма. Том X — Мелюзга.

VIII. К. А. Тренев.

Собрание сочинений в 2-х томах.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Том I — Владыка. Том II — Мокрая балка.

IX. Юрий Либединский.

Собрание сочинений (под наблюдением автора).

Том I — На переломе (Неделя. Завтра. Комиссары).

X. Шолом-Алейхем.

К десятилетию со дня смерти писателя.

Собрание сочинений в 2-х томах под редакцией И. Бабеля.

Обложка худ. **Н. Альтман.**

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ:

Том I — Ножик. Рассказы. 168 стр. Ц. 70 коп.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

Том II — Рябчик.

XI. Илья Эренбург.

Полное собрание сочинений (просмотрено автором)

Хулио Хоренито. Трест Д. Е. Любовь Жанны Ней. Тринадцать трубок. Четыре повести о легких концах. Жизнь и гибель Николая Курбова. Жестокая идиллия. Лик войны. Бубновый валет. Условные страдания завсегдатая кафе.

С ЗАКАЗАМИ и ТРЕБОВАНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

МОСКВА, Кузнецкий Мост, 13. (Правление) Изд-во „Земля и Фабрика".
МОСКВА, Столешников пер., 5. Книжный Магазин Изд-ва „Земля и Фабрика".
МОСКВА, Лубянский Пассаж, пом. №№ 25—30. Телеф. 2-31-78. Отдел Книготорговли Изд-ва.
ЛЕНИНГРАД, Просп. 25 Октября, 28. „Дом Книги" Северо-Западное Областное Отделение Изд-ва.
ХАРЬКОВ, Ул. Карла Либкнехта, 15. Украинское Отделение Изд-ва.

